

Белла Ахмадулина



Избранные произведения **ОЗНОБ**

COMO

БЕЛЛА АХМАДУЛИНА

О З Н О Б

Избранные произведения

ПОСЕВ 1968

Под редакцией Н. Тарасовой

© 1968 by Possev-Verlag, V. Gorachek KG, Frankfurt/Main
Printed in Germany

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Предлагаемая читателю книга — первая попытка собрать воедино произведения Беллы Ахмадулиной, молодого русского поэта «четвертого поколения» (род. в 1937 г. в Москве). После смерти Пастернака и Ахматовой, Ахмадулина — один из первых кандидатов на их место. Цель нашей работы — облегчить читателю заграницей и в России знакомство с ее поэтическим творчеством, поскольку в течение тринадцати лет официального поэтического ее труда вышел всего лишь один сборник стихотворений («Струна», 1962 г.), ставший уже давно библиографической редкостью.

В основу нашего сборника положен хронологический принцип, дающий возможность легко проследить эволюцию творчества Ахмадулиной. Даты, поставленные в скобках в оглавлении, в разделе «Стихи», означают время опубликования этих произведений в печати. При таком распределении материала могли возникнуть хронологические неточности, поскольку, как известно, стихотворения зачастую публикуются намного позже, чем пишутся, но общая картина, надо надеяться, сохранена верной. Даты, поставленные под стихотворениями, означают время их написания.

В разделах прозы и стихотворных переводов даты опубликования укажем здесь: очерк «На сибирских дорогах» был напечатан в журнале «Юность» в 1963 г.; очерк «Пушкин. Лермонтов» и «Воспоминания о Грузии» — в журнале «Литературная Грузия» в 1965 г. Переводы из М. Квливидзе — в журнале «Новый мир» в 1962 и 1966 гг. Переводы из С. Чиковани вышли в его сборнике «Избранные стихотворения» (Изд-во Художественной Литературы, Москва) в 1963 г. Переводы из О. Чиладзе — в «Литературной Грузии» в 1967 г.

Наша книга охватывает произведения Беллы Ахмадулиной,

опубликованные в России с 1955 г. по начало 1968 г. Печатались они в следующих журналах и газетах: «Октябрь», «Молодая гвардия», «Новый мир», «Юность», «Знамя», «Наш современник», «День поэзии», «Москва», «Кругозор», «Литературная Грузия», «Звезда Востока», «Литературная газета» и «Литературная Россия». В книгу почти целиком вошел сборник стихов «Струна» (1962 г.), стихотворения, опубликованные в молодежном рукописном журнале «Синтаксис» (1959-60 гг., см. «Грани» № 58, 1965), и наконец стихи, записанные во время публичных выступлений Ахмадулиной.

От имени нашего издательства я приношу благодарность тем почитателям таланта Ахмадулиной и тем друзьям «Посева», которые помогли собрать ее произведения и этим внесли существенный вклад в работу над книгой.

Н. Тарасова

СТИХИ

ЧЕРНЫЙ РУЧЕЙ

В деревне его называют Черным,
Я не знаю, по выдумке чьей.
Он, как все ручейки, озорной и проворный,
Чистый, прозрачный ручей.

В нем ходят, кряхтя, косолапые утки,
Перышки в воду роняя свои.
Он льется, вокруг расплескав незабудки,
Как синие капли своей струи.

Может, он потому мне до боли дорог,
Что в нем отразился лопух в пыли,
Прямая береза, желтый пригорок —
Родные приметы моей земли.

Яркие камешки весело моя,
Он деловито бежит в Оку.
А я бы скучала у Черного моря
По этому Черному ручейку.

НОЧЬЮ

Как бы мне позвать, закричать?
В тишине все стеклянно-хрупко.
Голову положив на рычаг,
Крепко спит телефонная трубка.

Спящий город перешагнув,
Я хочу переулком снежным
Подойти к твоему окну
Очень тихой и очень нежной.

Я прикрою ладонью шум
Зазвеневших капелью улиц.
Я фонари погашу,
Чтоб твои глаза не проснулись.

Я прикажу весне
Убрать все ночные звуки.
Так вот ты какой во сне!?
У тебя ослабели руки...

В глубине морщинок твоих
Притаилась у глаз усталость...
Завтра я поцелую их,
Чтоб следа ее не осталось.

До утра твой сон сберегу
И уйду свежим утром чистым,
Позабыв следы на снегу
Меж сухих прошлогодних листьев.

ЖАЛЕЙКА

Я уеду ранним утром
Наставленьям вопреки,
Я проснусь в домишке утлом
Возле пасмурной реки.

Залюбуюсь сивым дедом,
Что проходит босиком.
Ах, откройте, что он сделал
С тем зеленым тростником.

Он спускается с пригорка,
Бабы смотрят из ворот.
Так ли тонко, так ли горько
Та тростиночка поет?

Я стою с тяжелой лейкой,
Спелых грядок не полью.
Пожалей меня, жалейка,
Что я песен не пою.

Я болею, я устала,
Оттого и не могу.
Промычало мимо стадо,
Запестрело на лугу...

Водят кони вострым ухом,
Дождь пузырится у ног,
И метет лебяжьим пухом
Тополинный ветерок.

А по теплым тем сугробам,
По глубокой той воде
Всё идет с лицом суровым
Дед с тростинкой в бороде.

БОГ

За то, что девочка Настасья
добро чужое стерегла,
босая, бегала в ненастье
за водкою для старика, —

ей полагался бог красивый
в чертоге, солнцем залитом,
щеголеватый, справедливый
в старинном платье золотом.

Но посреди хмельной икоты,
среди убожества всего
две почерневшие иконы
не походили на него.

За это — вдруг расцвел цикорий,
порозовели жемчуга,
и раздалось, как хор церковный,
простое имя жениха.

Он разом вырос у забора,
поднес ей желтый медальон
и так вполне сошел за бога
в своем величье молодом.

И в сердце было свято-свято
от той гармошки гулевой,
от вин, от сладкогласья свата
и от рубашки голубой.

А он уже глядел обманно,
платочек газовый снимал,
и у соседнего амбара
ей груди слабые сминал...

А Настя волос причесала,
взяла платок за два конца,
а Настя пела, причитала,
держала руки у лица.

«Ах, что со мной ты понаделал,
какой беды понатворил!
Зачем ты в прошлый понедельник
мне белый розан подарил!

Ах, верба, верба, верба, моя верба,
не вянь ты, верба, погоди.
Куда девалась моя вера —
остался крестик на груди».

А дождик солнышком сменялся,
и не случалось ничего,
и бог над девочкой смеялся,
и вовсе не было его.

* * *

Он приготовил пистолет,
свеча качнулась, продержалась.
Как тяжело он постарел.
Как долго это продолжалось.

И вспомнил он издалека —
там, за пределом постаренья,
знамена своего полка,
сверканья, трубы, построенья.

Не радостно ему стареть.
Вчера побрел, побрел далеко
на первый ледоход смотреть,
стоял там долго, одиноко.

Потом отправился домой,
шаги тяжелые замедлил
и вдруг заметил, Боже мой,
вдруг эту женщину заметил.

И вспомнилось — давным-давно
гроза, глубокий след ботинка,
ее плечо обведено
оборкой белого батиста.

Зачем она среди весны
о той весне не вспоминала,
стояла просто у стены,
такая жалкая стояла.

И вот смертельный этот гром
раздастся, задевая рюмки,
и страшно упадут на гроб
жены его большие руки.

Придет его бесстыдный друг,
успевший прочитать в газете.
Для утешенья этих рук
он поцелует руки эти.

Они нальют ему вина,
и взглянет он непринужденно,
как на подушке ордена
горят мертво и отчужденно.

ПЯТНАДЦАТЬ МАЛЬЧИКОВ

Пятнадцать мальчиков, а может быть, и больше,
а может быть, и меньше, чем пятнадцать,
испуганными голосами
мне говорили:
«Пойдем в кино или в музей изобразительных
искусств».

Я отвечала им примерно вот что:

«Мне некогда».

Пятнадцать мальчиков дарили мне подснежники.

Пятнадцать мальчиков надломленными голосами
мне говорили:

«Я никогда тебя не разлюблю».

Я отвечала им примерно вот что:

«Посмотрим».

Пятнадцать мальчиков теперь живут спокойно.

Они исполнили тяжелую повинность

подснежников, отчаянья и писем.

Их любят девушки —

иные красивее, чем я,

иные некрасивее.

Пятнадцать мальчиков преувеличенно свободно,

а подчас злорадно

приветствуют меня при встрече,

приветствуют во мне при встрече

свое освобождение, нормальный сон и пищу...

Напрасно ты идешь, последний мальчик.

Поставлю я твои подснежники в стакан,

и коренастые их стебли образуют

серебряными пузырьками...

Но, видишь ли, и ты меня разлюбишь

и, победив себя, ты будешь говорить со мной надменно,

как будто победил меня,

а я пойду по улице, по улице...

* * *

Чем отличаюсь я от женщины с цветком,
от девочки, которая смеется,
которая играет перстеньком,
а перстенок ей в руки не дается?

Я отличаюсь комнатой с обоями,
где так сижу я на исходе дня,
и женщина с манжетами собольими
надменный взгляд отводит от меня.

Как я жалею взгляд ее надменный,
и я боюсь, боюсь ее спугнуть,
когда она над пепельницей медной
склоняется, чтоб пепел отряхнуть.

О, Господи, как я ее жалею,
плечо ее, понурое плечо,
и беленькую, тоненькую шею,
которой так под мехом горячо!

И я боюсь, что вдруг она заплачет,
что губы ее страшно закричат,
что руки в рукава она запрячет,
и бусинки по полу застучат...

ГОРОД НАУКИ ПОД НОВОСИБИРСКОМ

Грядущего города контур,
исполненный чистоты.
В нем зданий и теннисных кортов
едва проступают черты.



Белла Ахмедовна

Нам долго рассказывал мальчик-
строитель о городе том.
Расчетливо, как математик,
возвышенно, как астроном...

Вот циркуль бумаги коснулся,
и виделся нам исполин
в причудливом взлете конструкций,
в разумном гуденье машин.

Слиянье тайги и проекта.
Высокая точность ума.
Сиянье стекла и паркета
в себе сочетают дома.

Волнуемый помыслом дерзким,
в тайге этот город стоит.
Пока еще в возрасте детском,
он мудр и учен, как старик.

Росою омыты наутро
цветы и строенья его.
В них властно вступает наука,
справляя свое торжество.

Он встанет в чертах соразмерных.
Высоко взлетят провода.
И в формах его современных
особая есть правота.

Опровергающий косность
и тяжесть старинных времен,
он весь, как оранжевый конус,
в грядущие дни устремлен.

* * *

Жилось мне весело и шибко.
Входил в заснеженном плаще,
и вдруг зеленый ветер шипра
взметал косынку на плече.

А был ты мне ни друг, ни недруг.
Но вот бревно. Под ним река.
В реке, в ее ноябрьских недрах,
займется пламенем рука.

А глубоко? Попробуй, смеряй!
Смеюсь, зубами лист беру
и говорю: «Ты, парень, смелый,
пройдись по этому бревну».

Ого! Тревоги выраженье
в твоей руке. Дрожит рука.
Ресниц густое ворошенье
над замиранием зрачка.

А я иду (сначала боком) —
о, поскорей бы, поскорей! —
над темным холодом, над бойким
озябшим ходом пескарей.

А ты проходишь по перрону,
закрыв лицо воротником,
и тлеющую папиросу
в снегу кончаешь каблуком.

* * *

Я думала, что ты мой враг,
что ты беда моя тяжелая,
а вышло так: ты просто враль,
и вся игра твоя — дешевая.

На площади Манежной
бросал монету в снег.
Загадывал монетой,
люблю я или нет.

И шарфом ноги мне обматывал
там, в Александровском саду,
и руки грел, а всё обманывал,
всё думал, что и я солгу.

Кружилось надо мной вранье,
похожее на воронье.

Но вот в последний раз прощаешься.
В глазах ни сине, ни черно.
О, проживешь, не опечалишься,
а мне и вовсе ничего.

Но как же всё напрасно,
но как же всё нелепо!
Тебе идти направо.
Мне идти налево.

* * *

В рубашке белой и стерильной,
Как марля,
Ты приник к столу.
В глубокой нежности старинной
К тебе —
Я около стою.

Мой милый, снова затеваю
Я древнюю с тобой игру.
Я твои руки задеваю,
Я тебя за руки беру.

А он со мной лукавил много,
Ты глуп был и витиеват.
Ты виноват передо мною.
Передо мной не виноват.

О, будь сохранен от болезней,
Забудь меня, спеши, пиши.
А я тебе всех благ библейских
Желаю в простоте души.

Да, я тебе желаю рая.
Да обоймет тебя жена,
Да будет она рада, рада
Тебе
И навсегда верна.

Да, я тебе желаю ада.
Да обоймет тебя жена,
Жена обманутая, Ада,
Она нежна и ненужна.

Как вас роднит непониманье.
Не в этом дело —
В тишине
К вам снизойдет напоминанье,
Напоминанье обо мне.

* * *

Жила в позоре окаянном,
душой черна, лицом бела.
Но если кто-то океаном
и был — то это я была.

О, мой купальщик боязливый!
Ты б сам не выплыл — это я
волною нежной и брезгливой
на берег отнесла тебя.

Что я наделала с тобою!
Как позабыла в той беде,
что стал ты рыбой голубою,
взлелеянной в моей воде!

Я за тобой приливом белым
вернулась. Нет за мной вины.
Но ты в своем испуге бедном
отпрянул от моей волны.

И повторяют вслед за мною,
и причитают все моря:
о, ты, дитя мое родное,
о, бедное — прости меня.

* * *

Ну, предали. Ну, предали. Потом
забудется. Виновна я сама.
Поверженным я сознаю умом,
что я с ума схожу, схожу с ума.

И если апельсины продают,
оранжевое пахнет из корзин —
мне кажется — меня там продают,
меня там продают, не апельсин.

Если отцы забвенью предают
своих детей и для других затей —
мне кажется — меня там предают,
меня там предают, а не детей.

Значения тому не придают,
лукавят, лгут, слова передают —
мне кажется — меня там предают.
Меня там предают. Там предают.

* * *

Как корил ты меня за жестокость,
говорил: «Где твоя доброта?»
О, даруй же мне, Господи, стойкость
запереть на замок ворота!

Чтоб прохожие в них не входили,
чтоб в мои не вникали глаза,
не судили чтоб и не рядили
о моей доброте голоса.

День-другой с независимым видом
продержусь. Но неможется мне.
Скоро выдам я вам, скоро выдам —
где она и в какой стороне.

Там клянут ее и забывают,
там она доживает свое,
и последний гвоздок забывают
в голубые ладони ее.

* * *

— Всё это надо перешить, —
сказал портной, — ведь дело к маю.
— Всё это надо пережить, —
сказала я, — я понимаю.

И в кольцах камушки сменить,
и челку рыжую подрезать,
и в край другой себя сманить,
и вновь по Грузии поездить.

* * *

О, мой застенчивый герой,
ты ловко избежал позора.
Как долго я играла роль,
не опираясь на партнера!

К проклятой помощи твоей
я не прибегнула ни разу.
Среди кулис, среди теней
ты спасся, незаметный глазу.

Но в этом сраме и бреду
я шла пред публикой жестокой —
всё на беду, всё на виду,
всё в этой роли одинокой.

О, как ты гоготал, партер!
Ты не прощал мне очевидность
бесстыжую моих потерь,
моей улыбки безобидность.

И жадно шли твои стада
напиться из моей печали.
Одна, одна — среди стыда
стою с упавшими плечами.

Но опрометчивой толпе
герой действительный не виден.
Герой, как боязно тебе!
Не бойся, я тебя не выдам.

Вся наша роль — моя лишь роль.
Я проиграла в ней жестоко.
Вся наша боль — моя лишь боль.
Но сколько боли. Сколько. Сколько.

* * *

Смотрю на женщин, как смотрели встарь,
с благоговением и выжиданьем.
О, как они умеют сесть, и встать,
и голову склонить над вышиваньем.

Но ближе мне могучий род мужчин,
раздумья их, сраженья и проказы.
Склоненные под тяжестью морщин,
их лбы так величавы и прекрасны.

Они — воители, творцы наук и книг.
Настаивая на высоком сходстве,
намериваюсь приравняться к ним
я в мастерстве своем и благородстве.

Я — им чета. Когда пришла пора,
присев на покачнувшиеся нары,
я, запрокинув голову, пила,
чтобы не пасть до разницы меж нами.

Нам выпадет один почет и суд,
работавшим толково и серьезно.
Обратную разоблачая суть,
как колокол, звенит моя сережка.

И в звоне том — смятенье и печаль,
незащищенность детская и слабость.
И доверяю я мужским плечам
неравенства томительную сладость.

* * *

Твое окно на сторону восточную.
Оно неразлично и темно.
Но твой сосед угрюмо и восторженно
глядит в это пустынное окно.

В нем частые прохожие меняются,
и вянут неопрятные цветы,
посуда бьется, простыни мараются,
и женщина встает из темноты.

Сосед твой торжествует, удивляется,
причастный твоим тайнам и делам.
А женщина проходит, удаляется
и медленно садится на диван.

Грешны его пружины утомленные,
изведавшие столько темноты,
слова постылые, неутоленные,
и утреннее бремя пустоты.

О, эти женщины, простые и порочные,
ненадолго обретшие приют.
Здесь воскресают тени их порожные,
встречаются, и плачут, и поют.

Сосед взирает алчно. Не нарадуется
смятенью этой женщины чужой.
Она то встанет, в свой наряд нарядится,
то заново склонится над тобой.

Что выберет? И как она разделится
между тобой и горечью своей?
Шаги ее неведомы: разденется,
оденется и станет у дверей.

О, пусть она в пальто свое закутается
и выбежит на улицу одна.
Ей так потом заплачется, закурится,
вздохнется — за пределами окна.

Но даровитые твои и деловитые
глаза заснули, впавши глубоко.
Пусть спят себе, глупцы недальновидные,
и женщина уходит далеко.

* * *

Так и живем — напрасно маясь,
в случайный веруя навет.
Какая маленькая малость
нас может разлучить навек.

Так просто вычислить, прикинуть,
что без тебя мне нет житья.
Мне надо бы к тебе приникнуть.
Иначе поступаю я.

Припав на желтое сиденье,
сижу в косыночке простой
и направляюсь на съеденье
той темной станции пустой.

Иду вдоль белого кладбища,
оглядываюсь на кресты.
Звучат печально и комично
шаги мои средь темноты.

О, снизойди ко мне, разбойник,
присвистни в эту тишину.
Я удивленно, как ребенок,
в глаза недобрые взгляну.

Зачем я здесь, зачем ступаю
на темную тропу в лесу?
Вину какую искупаю
и наказание несую?

О, как мне надо возродиться
из этой тьмы и пустоты.
О, как мне надо возвратиться
туда, где ты, туда, где ты.

Так просто станет всё и цельно,
когда ты скажешь мне слова
и тяжело и драгоценно
ко мне склонится голова.

* * *

Из глубины моих невзгод
молюсь о милом человеке.
Пусть будет счастлив в этот год,
и в следующий, и вовеки.

Я, не сумевшая постичь
простого таинства удачи,
беду к нему не допустить
стараюсь так или иначе.

И не на радость же себе,
загородив его плечами,
ему и всей его семье
желаю миновать печали.

Пусть будет счастлив и богат.
Под бременем наград высоких
пусть подымает свой бокал
во здравие гостей веселых,

не ведая, как наугад
я билась головою о землю,
молясь о нем — среди неудач,
мне отведенных в эту осень.

* * *

Предать меня? Но для чего же?
Вам не за что меня корить.
Хоть ты мне растолкуй, о Боже,
какая им во мне корысть?

Предать меня? Что в этом толка?
Я и сама была слаба.
Мой голос выводил так тонко,
не выговаривал слова.

Предать меня? Какого чёрта?
Добры были мои глаза,
и рыжая повисла челка,
как у доверчивого пса.

АДА

Что в бедном имени твоём,
что в имени неблагозвучном
далось мне?
Я в слезах при нем
и в страхе неблагополучном.

Оно — лишь звук, но этот звук
мой напряженный слух морочил.
Он возникал — и кисти рук
мороз болезненный морозил.

Я запрещала быть словам
с ним даже в сходстве отдаленном.
Слова, я не прощала вам
и вашим гласным удлиненным.

И вот, доверившись концу,
я выкликнула имя это,
чтоб повстречать лицом к лицу
его неведомое эхо.

Оно пришло, и у дверей
вспорхнуло детскою рукою.
О, имя горечи моей,
что названо еще тобою?

Ведь я звала свою беду,
свою проклятую, родную —
при этом не имел в виду
судьбу несчастную другую.

И вот сижу перед тобой,
не смею ничего нарушить,
с закинутою головой,
чтоб слез моих не обнаружить.

Прости меня! Как этих рук
мелки и жалостны приметы.
И ты — лишь тезка этих мук,
лишь девочка среди планеты.

Но что же делать с тем, другим,
таким же именем, как это?
Ужели всем слезам моим
иного не сыскать ответа?

Ужели за моей спиной,
затем, что многозначно слово,
навек остался образ твой
по воле совпаденья злого?

Ужель какой-то срок спустя,
все по тому же совпаденью,
и тень твоя, как бы дитя,
рванется за моею тенью?

И там, в летящих облаках,
останутся, как знак разлуки,
в моих протянутых руках
твои протянутые руки.

* * *

О боль, ты — мудрость. Суть решений
перед тобою так мелка,
и осеняет темный гений
глаз захворавшего зверька.

В твоих губительных пределах
был разум мой высок и скуп,
но трав целебных поредельх
вкус мятный уж не сходит с губ.

Чтоб облегчить последний выдох,
я с точностью того зверька,
принюхавшись, нашла свой выход
в китайском стебельке цветка.

О, всех простить — вот облегченье,
о, всех простить, всем передать
и, нежную, как облученье,
вкусить всем телом благодать.

Прощаю вас, чужие руки!
Пусть вы протянуты к тому,
что лишь моей любви и муки
предмет, не нужный никому.

Прощаю вас, пустые скверы!
При вас лишь, в бедности моей,
я плакала от смутной веры
над капюшонами детей.

Прощаю вас, глаза собачьи!
Вы были мне укор и суд,
все мои горестные плачи
досель эти глаза несут.

Прощаю вас, три человека!
Так непосильна нежность к вам,
что выгнулась я, словно ветка,
столь не привычная к плодам.

Прощаю недруга и друга!
Целую наспех все уста.
Во мне, как в мертвом теле круга,
законченность и пустота.

И взрывы щедрые, и легкость,
как в белых дребезгах перин,
и уж не тягостен мой локоть
чувствительной черте перил.

Лишь воздух под моею кожей.
Жду одного — на склоне дня
охваченный болезнью схожей
пусть кто-нибудь простит меня.

ВУЛКАНЫ

Молчат потухшие вулканы.
На дно их падает зола.
Там отдыхают великаны
после содеянного зла.

Всё холоднее их владенья,
всё тяжелее их плечам,
но те же грешные виденья
являются им по ночам.

Им снится город обреченный,
не знающий своей судьбы,
базальт, в колонны обращенный
и обрамляющий сады.

Там девочки берут в охапки
цветы, что расцвели давно,
там знаки подают вакханки
мужчинам, тянущим вино.

Всё разгораясь и глупея,
там пир идет, там речь груба.
О девочка моя, Помпея,
дитя царевны и раба!

В плену судьбы своей везучей
о чем ты думала, о ком,
когда так храбро о Везувий
ты опиралась локотком?

Заслушалась его рассказов,
расширила зрачки свои,
чтобы не вынести раскатов
безудержной его любви.

И он челом своим умнейшим
тогда же, на исходе дня,
припал к ногам твоим умершим
и закричал: «Прости меня!»

* * *

О жест зимы ко мне,
холодный и прилежный.
Да, что-то есть в зиме
от медицины нежной.

Иначе как же вдруг,
из темноты и муки,
доверчивый недуг
к ней обращает руки?

О милая, колдуй,
заденет лоб мой снова
целебный поцелуй
колечка ледяного.

И — всё ясней соблазн
встречать обман доверьем,
смотреть в глаза собак
и приникать к деревьям.

Прощать, как бы играть,
с разбега, с поворота,
и, завершив прощать,
простить еще кого-то.

Сравняться с зимним днем,
с его пустым овалом,
и быть всегда при нем
его оттенком малым.

Свести себя на нет,
чтоб вызвать за стеною
не тень мою, а свет,
не заслоненный мною...

* * *

Глубоким голосом пророка,
донесшимся издалека,
«Возьми!» — сказала мне природа
о чистых струях родника.

Она мне воду даровала,
назначенную для корней.
Поскрипывая деревянно,
ступени приводили к ней.

Среди цветов, густых, истошных,
воды желающих, воды,
в моих ладонях тек источник.
В нем были камушки видны.

— Ну пей же, пей, — земля просила, —
купайся, запускай суда.
— Да, да, — сказала я, — спасибо,
какая чистая вода.

Как всё живое к ней стремится,
как сохнет в горле у него,
а вот она — ко мне струится,
желанья ищет моего.

Но я не жажду утоленья.
Я долго на воду смотрю.
И медлю я. И промедленья
никак в себе не поборю.

НЕВЕСТА

Хочу я быть невестой,
красивой, завитой,
под белую навесной
застенчивой фатой.

Чтоб вздрагивали руки
в колечках ледяных,
чтобы сходились рюмки
во здравье молодых.

Чтоб каждый мне поддакивал,
пророчил сыновей,
чтобы друзья с подарками
стеснялись у дверей.

Сорочки в целлофане,
тарелки, кружева...
Чтоб в щеку целовали,
пока я не жена.

Платье мое белое
заплакано вином,
счастливая и бедная
сижу я за столом.

Страшно и заманчиво
то, что впереди.
Плачет моя мамочка —
мама, погоди.

...Наряд мой боярский
скинут на кровать.
Мне хорошо бояться
тебя поцеловать.

Громко стулья ставятся
рядом, за стеной...
Что-то дальше станется
с тобою и со мной?..

АБХАЗСКИЕ ПОХОРОНЫ

Две девочки бросали георгины,
бросали бережливо, иногда,
и женщины устало говорили:
— Цветы сегодня дороги — беда. . .

И с жадным страхом улица глазела,
как девочки ступали впереди,
как в отблесках дешевого газета
белым-белели руки на груди.

Несли венки, тяжелые, скупые,
старушек черных под руки влекли.
Да, все, что на приданое скопили,
все превратилось в белые венки.

На кладбище затеяли поминки,
все оживились, вздрогнули легко,
и лишь глаза у женщины поникли
и щеки провалились глубоко.

Но пили, пили стопкою и чашкой —
и горе отпустило, отлегло,
и на дороге долго пахло чачей,
и голоса звучали тяжело.

И веселились песни хоровые,
забывшие нарочно про беду. . .
Так девочку Геули хоронили.
Давно уже — не в нынешнем году.

МОЛОКО

Вот течет молоко. Вы питаетесь им.
Запиваете твердые пряники.
Захочу — и его вам открою иным,
драгоценным и редким, как праздники.

Молоко созревает в глубинах соска,
материнством скупым сбереженное,
и девчонка его, холодея со сна,
выпускает в ведро луженое.

Я скажу вам о том, как она молода,
как снуют ее пальцы русалочки,
вы вовек не посмеете пить молока,
не подумав об этой рязаночке.

Приоткройте глаза: набухают плоды
и томятся в таинственной прихоти.
Раздвигая податливый шорох плотвы,
осетры проплывают по Припяти.

Где-то плачет ребенок. Утешьте его.
Обнимите его, не замедлите.
Необъятна земля, но в ней нет ничего.
Если вы ничего не заметите.

ЛУНАТИКИ

Встает луна, и мстит она за муки
надменной отдаленности своей.
Лунатики протягивают руки
и обреченно следуют за ней.

На крыльях одичалого сознания,
весомостью дневной утомлены,
летят они, прозрачные созданыя,
прислушиваясь к отсветам луны.

Мерцая так же холодно и скупю,
взамен не обещаю ничего,
влечет меня далекое искусство
и требует согласия моего.

Смогу ли побороть его мученья
и обаянье всех его примет
и вылепить из лунного свеченья
тяжелый, осязаемый предмет? . .

ГРУЗИНСКИХ ЖЕНЩИН ИМЕНА

Там в море парусы плутали,
и, непричастные жаре,
медлительно цвели платаны
и осыпались в ноябре.

Мешались гомоны базара,
и обнажала высота
переплетения базальта
и снега яркие цвета.

И лавочка в старинном парке
бела вставала и нема,
и смутно виноградом пахли
грузинских женщин имена.

Они переходили в лепет,
который к морю выбегал
и выплывал, как черный лебедь,
и странно шею выгибал.

Смеялась женщина Ламара,
бежала по камням к воде,
и каблучки по ним ломала,
и губы красила в вине.

И мокли волосы Медеи,
вплетаясь утром в водопад,
и капли сохли и мелели
и загорались невпопад.

И, заглушая олеандры,
сбравши все в одном цветке,
вitalo имя Ариадны
и растворялось вдалеке.

Едва опершийся на сваи,
там приникал к воде причал.
«Цисана!» — из окошка звали,
«Натэла!» — голос отвечал...

* * *

Влечет меня старинный слог.
Есть обаянье в древней речи.
Она бывает наших слов
и современнее и резче.

Вскричать: «Полцарства за коня!» —
какая вспыльчивость и щедрость!
Но снизойдет и на меня
последнего задора тщетность.

Когда-нибудь очнусь во мгле,
навек проиграв сраженье,
и вот придет на память мне
безумца древнего решенье.

О, что полцарства для меня!
Дитя, наученное веком,
возьму коня, отдам коня
за полмигновенья с человеком,

любимым мною. Бог с тобой,
о конь мой, конь мой, конь ретивый.
Я безвозмездно повод твой
ослаблю — и табун родимый

нагонишь ты, нагонишь там,
в степи пустой и порыжелой.
А мне наскучил тарарам
этих побед и поражений.

Мне жаль коня! Мне жаль любви!
И на манер средневековый
ложится под ноги мои
лишь след, оставленный подковой.

АПРЕЛЬ

Вот девочки — им хочется любви.
Вот мальчики — им хочется в походы.
В апреле изменения погоды
объединяют всех людей с людьми.

О новый месяц, новый государь,
так ищешь ты к себе расположенья,
так ты бываешь щедр на одолженья,
к амнистиям склоняя календарь.

Да, выручишь ты реки из оков,
приблужишь ты любое отдаленье,
безумному даруешь просветленье
и исцелишь недуги стариков.

Лишь мне твоей пощады не дано.
Нет алчности просить тебя об этом.
Ты спрашиваешь — медлю я с ответом
и свет гашу, и в комнате темно.

ЦВЕТЫ

Цветы росли в оранжерее.
Их охраняли потолки.
Их корни сытые жирели
и были лепестки тонки.

Им подсыпали горький калий
и множество других солей,
чтоб глаз анютиных желто-карий
смотрел круглей и веселей.

Цветы росли в оранжерее.
Им дали света и земли
не потому, что их жалели
или надолго берегли.

Их дарят празднично на память,
но мне — мне страшно их судьбы,
ведь никогда им так не пахнуть,
как это делают сады.

Им на губах не оставаться,
им не раскачивать шмеля,
им никогда не догадаться,
что значит мокрая земля.

* * *

Мы расстаемся — и одновременно
овладевает миром перемена,
и страсть к измене так в нем велика,
что берегами брезгает река,
охладевают к небу облака,
кивает правой левая рука
и ей надменно говорит: — Пока!

Апрель уже не предвещает мая,
да, мая не видать нам никогда,
и распадается иван-да-марья.
О, желтого и синего вражда!

Свои растенья вытравляет лето,
долготы отстранились от широт,
и белого не существует цвета —
остались семь его цветных сирот.

Все храмы подвергаются разрухе,
гуляет над кладбищами разбой
и тянет руки, — по вине разлуки
меня с тобой, о Господи, с тобой.

БАРС

Охотники ловили барса
на берегу Нарын-реки.
Он не рычал — он улыбался,
когда показывал клыки.
Его охота потешала,
но первым признаком беды
был запах —

всюду по Тянь-Шаню
противно пахли их следы.
Но люди землю подкопали.
Они добились своего.
Он сильный был,
но про капканы
еще не знал он ничего.
Он понял.

Он поддался гордо,
когда вязал его казах,
и было сумрачно и горько
в его оранжевых глазах.

Он за людьми следил ощерясь.
Они будили в нем тоску.
В нем полыхали гнев и щедрость,
и хвост метался по песку.
Он поселился в зоопарке,
где много мяса и воды.
Они, заманчивые, пахли,
но долго он не брал еды.
Его лелеют там усердно.
Он покорился.

Он лежит.
И только видно, как у сердца
пятнистый мех его дрожит.

СВЕТОФОРЫ

Светофоры. И я перед ними
становлюсь, отступаю назад.
Светофор. Это странное имя.
Светофор. Святослав. Светозар.

Светофоры добры, как славяне.
Мне в лицо устремляют огни
и огнями, как будто словами,
умоляют: «Постой, не гони».

Благодарна я им за смещение
этих двух разноцветных огней,
но во мне происходит смешенье
этих двух разноцветных кровей.

О, извечно гудел и сливался,
о, извечно бесчинствовал спор:
этот добрый рассудок славянский
и косой азиатский напор.

Видно, выход — в движенье, в движенье,
в голове, наклоненной к рулю,
в бесшабашном головокруженье
у обочины на краю.

И, откидываясь на сиденье,
говорю себе: «Погоди».
Отдаю себя на съеденье
этой скорости впереди.

КОНЬ

Мальчишка, мчащийся в ночное,
не понукающий коня,
я расскажу тебе смешное,
мальчишка, пожалей меня.
Да, мало в жизни я видала.
Сидеть не приходилось мне
на кляче самой захудалой,
не говоря о скакуне.
Верхом — мое ли это дело!
Беда не так уж велика!
Но раз я, помнится, глядела
на удалого седока.
Он пролетел, протяжно крикнув,
припав к раздольному коню,
и долго вздрагивали кринки,
развешанные по плетню...
О парне том не забывая
и злую зависть не тая,
я не прощу себе трамвая,
в котором часто езжу я.
Его сидячего покоя,
его гремучей суеты...
Но знаю я, что где-то кони
жуют горючие цветы.
И есть один, гнедой и рослый.
Покуда я живу в Москве,
он бродит по колена в росной,
пробитой клевером траве.
Он мой. Он ждет меня к ответу
за всю трамвайную езду,
и слышно далеко по ветру
его трезвонную узду.
Поедем.
Он на землю сбросит

меня на берегу реки,
но как-нибудь он сам попросит
веления моей руки.
И вот лечу я, не седлая
того лихого жеребца,
и грива пенится седая
и плещет около лица.
Дома, заборы, куры в просе,
мальчишка с множеством значков...
Ах, конь!

И мне уже не бросить
его задумчивых зрачков,
его горячего оскала,
когда он жадно пьет в реке...
Лечу!

Того, что не пускало,
уже не видно вдалеке...

ДЕНЬ ПОЭЗИИ

Какой безумец празднество затеял
и щедро Днем поэзии нарек?
По той дороге, где мой след затерян,
стекается на празднество народ.

О славный день, твои гуляки буйны.
Я на себя их смелость не беру.
Ты для меня — торжественные будни.
Не пировать мне на твоём пиру.

А в публике — доверье и смущенье.
Как добрая душа ее проста.
Великого и малого смещенье
не различает эта доброта.

Пока дурачит слух ее невежда,
пока никто не видит в этом зла,
мне остается смутная надежда,
что праздники случаются не зря.

Не зря слова поэтов осеняют,
не зря, когда звучат их голоса,
у мальчиков и девочек сияют
восторгом и неведением глаза.

ЧУЖОЕ РЕМЕСЛО

Чужое ремесло мной помывает.
На грех наводит, за собой маня.
Моя работа мне не помогает
и мстительно сторонится меня.

Я ей вовеки соблюдаю верность,
пищу стихи у краешка стола,
и все-таки меня снедает ревность,
когда творят иные мастера.

Поет высоким голосом кинто,
и у меня в тбилисском том духане,
в картинной галерее и в кино
завистливо заходится дыханье.

Когда возводит красную трубу
печник на необжитом новом доме,
я тоже вытираю о траву
замаранные глиною ладони.

О, сделать так, как сделал оператор,
послушно перенять его пример
и, пристально прикинув к аппаратам,
прищуриться на выбранный предмет.

О, эта жадность деревца сажать,
из лейки лить на грядках неполитых
и линии натурщиц отражать,
размазывая краски на палитрах!

Так власть чужой работы надо мной
меня жестоко требует к ответу.
Но не прошу я участи иной.
Благодарю скупую радость эту.

НОВАЯ ТЕТРАДЬ

Смущаюсь и робею пред листом
бумаги чистой.
Так стоит паломник
у входа в храм.
Пред девичьим лицом
так опытный потупится поклонник.

Как будто школьник, новую тетрадь
я озираю алчно и любовно,
чтобы потом пером ее терзать,
марая ради замысла любого.

Чистописанья сладостный урок
недолог. Перевернута страница.
Бумаге белой нанеся урон,
бесчинствует мой почерк и срамится.

Так вглубь тетради, словно в глубь лесов
я безрассудно и навечно кану,
одна среди сияющих листов
неся свою ликующую кару.

СТАРИННЫЙ ПОРТРЕТ

Эта женщина минула,
в холст глубоко вошла.
А была она милая,
молодая была.

Прожила б она красивая,
вся задор и полнота,
если б проголодь крысиная
не сточила полотно.

Как металася по комнате,
как кручинилась по нем.
Ее пальцы письма комкали
и держали над огнем.

А когда входил уверенно,
громко спрашивал вина —
как заносчиво и ветрено
улыбалася она.

В зале с черными колоннами
маскарады затевал
и манжетами холодными
ее руки задевал.

Покорялись руки бедные,
обнимали сгоряча,
и взвивались пальцы белые
у цыгана скрипача.

Он опускался на колени,
смычком далеким обольщал
и тонкое лицо калеки
к высоким звездам обращал.

...А под утро в спальне темной
тихо свечку зажигал,
перстенок, мизинцем теплый,
он в ладони зажимал.

И смотрел, смотрел печально,
как, счастливая сполна,
безрассудно и прощально
эта женщина спала.

Надевала платье черное
и смотрела из дверей,
как к крыльцу подводят чопорных,
приозябших лошадей.

Поцелуем долгим, маетным
приникал к ее руке,
становился тихим, маленьким
колокольчик вдалеке.

О высокие клавиши
разбивалась рука.
Как над нею на кладбище
трава глубока.

ХЕМИНГУЭЙ

1

В стране, не забывающей Линкольна,
в селе, где ни двора и ни кола,
как женщина, печальна колокольня.
По мне, по мне звонят колокола.

По юношам, безвременно погибшим
на этой победительной войне,
по женщинам, усталым и поникшим,
и все-таки они звонят по мне.

По старикам, давным-давно усопшим,
по морякам, оставшимся на дне,
по мумиям, загадочным, усохшим,
и все-таки — по мне, по мне, по мне.

2

Прекрасен не прекрасной синерамой
тот алчный и надменный материк,
а тем, что бородатый, синеглазый
вдоль побережья шествует старик.

О, эта чистота на грани детства
и равенство с прохожими людьми!
Идет он легкой поступью индейца
и знает толк в охоте и в любви.

К большим ступням он примеряет лапы,
и волны подступают к бороде,
и с выраженьем мудрости и ласки
смеется он, ступает по воде.

О, президентов выборы и крики!
Как там шумят и верховодят всласть...
И все же книги — как над нами книги
неумолимо проявляют власть!

Над миром простирается защита,
защита их отцовской доброты.
Стоит охотник и солдат. Защита
его одежда. Помыслы чисты.

И, многоопытный свидетель века,
в том звоне различает он опять:
о, не обидь, несчастье, человека,
не смей его у женщины отнять!

В тревоге неумолчной, сердобольной
туда, к вершине солнца и дождей,
восходит этот гомон колокольный,
оплакивая горести людей.

САДОВНИК

Я не скрипеть прошу калитку,
я долго около стою.
Я глажу тонкую калину
по загорелому стволу.

И, притаясь в листве веселой,
смеюсь тихонько в кулаки.
Вот он сидит, мой друг высокий,
и починяет башмаки.

Смешной, с иголкой и с дратвой,
еще не знает ничего,
а я кричу свирепо: «Здравствуй!» —
и налетаю на него.

А он смеется или плачет
и топчет грядки босиком,
и красный сеттер возле пляшет,
в меня нацелясь языком.

Забыв в одной руке ботинки,
чудак, садовник, педагог,
он в подпол лезет и бутылки
из темноты мне подает.

Он бегаёт, очки роняя,
и, на меня взглянув тайком,
он вытирает пыль с рояля
своим рассеянным платком.

Ах, неудачник мой, садовник!
Соседей добрых веселя,
о, сколько фруктов несъедобных
он поднял из тебя, земля!

Я эти фрукты ем покорно.
Они солены и крепки,
и слышно, как скребут по горлу
семян их острых коготки.

И верю я одна на свете,
что зацветут его сады,
что странно засияют с веток
им совершенные плоды.

Он говорит: — Ты представляешь —
быть может, через десять лет
ты вдруг письмо мне присылаешь,
а я пишу тебе в ответ...

Я представляю,
и деревья
я вижу — глаз не оторву.
Размеренные ударенья
тяжелых яблок о траву...

Он машет вилокю с селедкой,
глазами голодно блестит,
и персик, твердый и соленый,
на крепких челюстях хрустит...

* * *

О, слово точное — подонки!
Меж них такая кутерьма.
Темны их лица и подобны
одно другому.

Я сама

толкаюсь в их движенье тесном,
не в силах скрыться в стороне,
как бы измазанные тестом
их руки липнут и ко мне.

Все, что удобно и съедобно,
так безудержно их влечет.
Они ко мне добры сегодня
и обещают мне почет.

Но будут глухи их удары,
когда придет пора моя,
и, как надменные удавы,
они посмотрят на меня.

— Погибнет это дарованье! —
мне напророчат за глаза.
Неведомы и деревянные
их лики, словно образа.

Им предстоит удел обратный.
Он их настигнет все равно.
Но сколько предано объятий
и душ нестойких растлено!

Есть утешение скупое —
в их жизни, алчной и лихой,
они наказаны собою,
своей бездарностью глухой.

* * *

Человек в чисто поле выходит,
травку клевер зубами берет.
У него ничего не выходит.
Все выходит наоборот.

И в работе опять не выходит.
И в любви, как всегда, не везет.
Что же он в чисто поле выходит,
травку клевер зубами берет?

Для чего он лицо поднимает,
улыбается, в небо глядит?
Что он видит там, что понимает
и какая в нем дерзость гудит?

Человече, тесно ль тебе в поле?
Погоди, не спеши умереть.
Но опять он до звона, до боли
хочет в белое небо смотреть.

Есть на это разгадка простая.
Нас единой заботой свело.
Человечеству сроду пристало
делать дерзкое дело свое.

В нем согласие беды и таланта
и готовность опять и опять
эти древние муки Тантала
на большие плеча принимать.

В металлическом блеске конструкций,
в устремленном движении винта
жажда вечная — неба коснуться,
эта тяжкая жажда видна.

Посреди именин, новоселий
нет удачи желанней, чем та
не уставшая от невезений,
воссиявшая правота.

ЗИМНИЙ ДЕНЬ

Мороз, сиянье детских лиц,
и легче совладать с рассудком,
и зимний день — как белый лист,
еще не занятый рисунком.

Ждет заполнения пустота,
и мы ей сделаем подарок:
простор листа, простор холста
мы не оставим без помарок.

Как это делает дитя,
когда из снега бабу лепит, —
творить легко, творить шутя,
впадая в этот детский лепет.

И, слава Богу, все стоит
тот дом среди деревьев дачных,
и моложав еще старик,
объявленный как неудачник.

Вот он выходит на крыльцо,
и от мороза голос сипнет,
и галка, отряхнув крыло,
ему на шапку снегом сыплет.

И, стало быть, недорешен
удел, назначенный молвою,
и снова, словно дирижер,
он не робеет стать спиною,

спиною к нам, лицом туда,
где звуки ждут его намека,
и в этом первом «та-та-та»
как будто бы труда немного.

Но мы-то знаем, как велик
труд, не снискавший одобренья.
О зимний день, зачем велишь
работать так, до одуренья?

Позволь оставить этот труд
и бедной славой утешаться.
Но — снег из туч! Но — дым из труб!
И невозможно удержаться.

СНЕГУРОЧКА

Что так Снегурочку тянуло
к тому высокому огню?
Уж лучше б в речке утонула,
попала под ноги коню.

Но голубым своим подолом
вспорхнула — ноженьки видны —
и нет ее, она подобна
глотку оттаявшей воды.

Как чисто с воздухом смешалась
и кончилась ее пора.
Играть с огнем — вот наша шалость,
вот наша древняя игра.

Нас цвет оранжевый так тянет,
так нам проходу не дает.
Ему поддавшись, тело тает
и телом быть перестает.

Но пуще мы огонь раскурим
и вовлечем его в игру,
и снова мы собой рискуем
и доверяемся костру.

Вот наш удел еще невидим,
в дыму еще неразличим.
То ль из него живые выйдем,
то ль навсегда сольемся с ним.

* * *

Живут на улице Песчаной
два человека дорогих.
Я не о них.

Я о печальной
неведомой собаке их.

Эта японская порода
ей так расставила зрачки,
что даже страшно у порога —
как их раздумья глубоки.

То добрый пес. Но, замирая
и победительно сопя,
надменным взглядом самурая
он сможет защитить себя.

Однажды просто так, без дела
одна пришла я в этот дом,
и на диване я сидела
и говорила я с трудом.

Уставив глаз свой самоцветный,
все различавший в тишине,
пес умудренный семилетний
сидел и думал обо мне.

И голова его мигала.
Он горестный был и седой,
как бы поверженный микадо,
усталый и немолодой.

Зовется Тошкой пес. Ах, Тошка,
ты понимаешь все. Ответь,
что так мне совестно и тошно
сидеть и на тебя глядеть?

Все тонкий нюх твой различает,
угадывает наперед.
Скажи мне, что нас разлучает
и все ж расстаться не дает?

КОРОЛЕВА

Но вот проходит королева,
качая медленно серьгой.
Благоговейно кавалеры
следят за маленькой ногой.

Она похрустывает шелком,
глубины глаз ее влажны;
ее ресницами, как шоком,
мгновенно все поражены.

Как высока ее осанка!
Держа поднос над головой,
идет она — официантка
в кафе под крышей голубой.

Нуждаются в ее советах
тот посетитель и другой,
и пики снежные салфеток
взмывают под ее рукой.

И над прическою короткой
плывет, надменна и строга,
ее крахмальная корона,
холодная, как жемчуга.

* * *

Вот звук дождя, как будто звук домбры, —
так тренькает, так ударяет в зданья.
Прохожему на площади Восстанья
я говорю: — О, будьте так добры.

Я объясняю мальчику: — Шали. —
К его курчавой головенке никну
и говорю: — Пусти скорее нитку,
освободи зеленые шары.

На улице, где публика галдит,
мне белая встречается собака,
и взглядом, понимающим собрата,
собака долго на меня глядит.

И в магазине, в первом этаже,
по бледности я отличаю скрягу.
Облюбовав одеколону склянку,
томится он под вывеской «Тэжэ».

Я говорю: — О, отвлекись скорей
от жадности своей и от подагры,
прибрати богатые подарки
и отнеси возлюбленной своей.

Да, что-то не везет мне, не везет.
Меж мальчиков и девочек пригожих
и взрослых, чем-то на меня похожих,
мороженого катится возок.

Так прохожу я на исходе дня.
Теней я замечаю удлинение,
а также замечаю удивление
прохожих, озирающих меня.

* * *

Смеясь, ликуя и бунтуя
в своей безвыходной тоске,
в Махинджаури, под Батуми,
она стояла на песке.

Она была такая гордая —
вообразив себя рекой,
она входила в море голая
и море трогала рукой.

Освободясь от ситцев лишних,
так шла и шла наискосок.
Она расстегивала лифчик,
чтоб сбросить лифчик на песок.

И вид ее предплечья смутного
дразнил и душу бередил.
Там белое пошло по смуглому,
где раньше ситец проходил.

Она смеялась от радости,
в воде ладонями плеча,
и перекидывались радуги
от головы и до плеча.

ТВОЙ ДОМ

Твой дом, не ведая беды,
меня встречал и в щеку чмокал.
Как будто рыба из воды,
сервиз выглядывал из стекол.

И пес выскакивал ко мне,
как галка маленький, орущий,
и в беззащитном всеоружье
торчали кактусы в окне.

От неурядиц всей земли
я шла озябшим делегатом,
и дом смотрел в глаза мои
и добрым был и деликатным.

На голову мою стыда
он не навлек, себя не выдал.
Дом клялся мне, что никогда
он этой женщины не видел.

Он говорил: — Я пуст. Я пуст. —
Я говорила: — Где-то, где-то... —
Он говорил: — И пусть. И пусть.
Входи и позабудь про это.

О, как боялась я сперва
платка или иной приметы,
но дом твердил свои слова,
перетасовывал предметы.

Он заметал ее следы.
О, как он притворялся ловко,
что здесь не падало слезы,
не облакачивалось локтя.

Как будто тщательный прибор
смыл все: и туфель отпечатки,
и тот пустующий прибор,
и пуговицу от перчатки.

Все сговорились: пес забыл,
с кем он играл, и гвоздик малый
не ведал, кто его забил,
и мне давал ответ туманный.

Так были зеркала пусты,
как будто выпал снег и стаял.
Припомнить не могли цветы,
кто их в стакан граненый ставил...

О, дом чужой! О, милый дом!
Прощай! Прошу тебя о малом:
Ко мне был добр — и к ней будь добр,
утешь ее простым обманом.

Ты ей скажи: «Я пуст. Я пуст.»
Она ответит: «Где-то, где-то...»
Ты ей скажи: «И пусть. И пусть.»
Входи и позабудь про это.»

ДРЕВНИЕ РИСУНКИ В ХАКАССИИ

Неведомый и древний лучник,
у первобытного огня
он руки грел. Он женщин лучших
любил. Он понукал коня.

Но что тревожило рассудок,
томило, отводило сон?
О, втиснутый в скалу рисунок!
Как дерзок и наивен он!

Он тяжело рисовал и скупю,
как будто высекал огонь.
И близилось к нему искусство,
и ржал его забытый конь.

Он нежно трогал эти стены.
Но кто он? Что случилось с ним?
И долго мы на эти стелы
как бы в глаза его глядим.

НЕЖНОСТЬ

Так ощутима эта нежность,
вещественных полна примет.
И нежность обретает внешность
и воплощается в предмет.

Старинной вазою зеленой
вдруг станет на краю стола,
и ты склонись удивленный
над чистым омутом стекла.

Встревожится квартира ваша,
и будут все поражены.
— Откуда появилась ваза? —
ты строго спросишь у жены.

— И антиквар какую плату
спросил? — О, не кори жену —
то просто я смеюсь и плачу
и в отдалении живу.

И слезы мои так стеклянны,
так их паденья тяжелы,
они звенят, как бы стаканы,
разбитые средь тишины.

За то, что мне тебя не видно,
а видно — так на полчаса,
я безобидно и невинно
свершаю эти чудеса.

Вдруг облаком тебя покроет,
как в горных высях повелось.
Ты закричишь: — Мне нет покою!
Откуда облако взялось?

Но суеверно, как крестьянин,
не бойся, «чур» не говори —
то нежности моей кристаллы
осели на плечи твои.

Я так немудрено и нежно
наколдовала в стороне,
и вот образовалось нечто,
напоминая обо мне.

Но по привычке добрых бестий,
опять играя в эту власть,
я сохраню тебя от бедствий
и тем себя утешу всласть.

Прощай! И занимайся делом!
Забудется игра моя.
Но сказки твоим малым детям
останутся после меня.

НЕСМЕЯНА

Так и сижу — царевна Несмеяна,
ем яблоки, и яблоки горчат.
— Царевна, отвори нам! Нас немало! —
под окнами прохожие кричат.

Они глядят глазами голубыми
и в горницу являются гурьбой,
здороваются, кланяются, имя
«Царевич» говорят наперебой.

Стоят и похваляются богатством,
проходят, златом-серебром звеня.
Но вам своим богатством и бахвальством,
царевичи, не рассмешить меня.

Как ум моих царевичей напрягся,
стараясь ради красного словца!
Но и сама слыву я не напрасно
глупей глупца, мудрее мудреца.

Кричат они: — Какой верна присяге,
царевна, ты — в суровости своей? —
Я говорю: — Царевичи, присядьте.
Царевичи, постоитте у дверей.

Зачем кафтаны новые надели
и шапки примеряли к головам?
На той неделе, о, на той неделе
смеялась я, как не смеяться вам.

Входил он в эти низкие хоромы,
сам из татар, гулявших на Руси,
и я кричала: «Здравствуй, мой хороший!
Вина отведай, хлебом закуси».

— А кто он был? Богат он или беден?
В какой он проживает стороне? —
Смеялась я: — Богат он или беден,
румян иль бледен — не припомнить мне.

Никто не покарает, не измерит
вины его. Не вышло ни черта.
И все же он, гуляка и изменник,
не вам чета. Нет. Он не вам чета.

* * *

О, еще с тобой случится
все — и молодость твоя.
Когда спросишь: «Кто стучится?» —
Я отвечу: «Это я!»

Это я! Ах, поскорее
выслушай и отвори.
Стихнули и постарели
плечи бедные твои.

Я нашла тебе собрата —
листик с веточки одной.
Как же ты стареть собрался,
не советуясь со мной!

Ах, да вовсе не за этим
я пришла сюда одна.
Это я — ты не заметил.
Это я, а не она.

Над примятою постелью,
в сумраке и тишине,
я оранжевой пастелью
рисовала на стене.

Рисовала сад с травой,
человечка с головой,
чтобы ты спросил с тревогой:
— Это кто еще такой?

Я отвечу тебе строго:
— Это я, не спорь со мной.
Это я смешной и стройный
человечек с головой.

Поиграем в эту шалость
и расплачемся над ней.
Позабудем мою жалость,
жалость к старости твоей.

Чтоб ты слушал и смирялся,
становился молодой,
чтобы плакал и смеялся
человечек с головой.

* * *

Нас одурачил нынешний сентябрь
с наивностью и хитростью ребенка.
Так повезло раскинутым сетям —
мы бьемся в них, как малая рыбешка.

Нет выгоды мне видеться с тобой.
И без того сложны переплетенья.
Но ты проходишь, головой седой
оранжевые трогая растенья.

Я говорю на грани октября:
— О будь неладен предыдущий месяц.
Мне надобно свободы от тебя,
и торжества, и празднества, и мести.

В глазах от этой осени пестро.
И, словно на уроке рисованья,
прилежное пишу тебе письмо,
выпрашивая расставанья.

Гордилась я, и это было зря.
Опровергая прошлую надменность,
прошу тебя: не причиняй мне зла!
Я так на доброту твою надеюсь!

СЕНТЯБРЬ

Ю. Нагибину

I

Какие новости у вас в календаре?
А впрочем, мне до них какое дело?
И в январе живу, как в сентябре,
настойчиво и оголтело.

Сентябрь, не отводи твое крыло,
твое крыло оранжевого цвета.
Отсрочь твое последнее число
и подари мне промедленье это.

Повремени и не клонись ко сну.
Охваченный желанием даренья,
как и тогда, транжирь свою казну,
побалууй все растущие деревья.

Что делалось! Как напряглась трава,
чтоб зеленеть с такою полнотою,
и дерево, как медная труба,
сияло и играло над землею.

На палисадники, набитые битком,
все тратилась и тратилась природа,
и георгин показывал бутон,
и замирал, и ожидал прироста.

Испуганных художников толпа
на цвет земли смотрела воровато,
толпилась, вытирала пот со лба,
кричала, что она не виновата:

она не затевала кутерьму,
и эти краски красные пролиты
не ей — и в доказательство тому
казала свои бедные палитры.

Вы не виновны! На другой мотив
вы мажете холсты до одуренья.
По меньшей мере — здесь шалил Матис
и, как за кисти, брался за деревья.

Он виноват, но виноват давно!
Бывает слабость в старом человеке.
Но все это, что желто и красно,
что зелено — пусть здравствует вовеки!

Как пачкались, как били по глазам,
как нарушались прежние расцветки.
И в этом упоении базар
все понижал на яблоки расценки.

II

И мы увиделись. Ты вышел из дверей.
Все кончилось. Все начиналось снова.
До этого не начислялось дней,
как накануне Рождества Христова.

И мы увиделись. И в двери мы вошли.
И дома не было за этими дверями.
Мы встретились, как старые вожди,
с закинутыми головами —

от гордости, от знанья, что к чему,
от недоверия и напряженья.
По твоему челу, по моему челу
мелькнуло это темное движенье.

Мы встретились, как дети поутру,
с закинутыми головами —
от нежности, готовности к добру
и робости перед словами.

Сентябрь, сентябрь, во всем твоя вина,
ты действовал так слепо и неверно.
Свобода равнодушья, ты одна
будь проклята и будь благословенна.

Счастливы подзащитные твои —
в пределах крепости, поставленной тобою,
неуязвимые для боли и любви,
как мстительно они следят за мною.

И мы увиделись. Справлял свои пиры
сентябрь, не проявляя недоверья.
Но, оценив значительность игры,
отпрянули все люди и деревья.

III

Прозрели мои руки. А глаза —
как руки, стали действенны и жадны.
Обильные возникли голоса
в моей гортани, высохшей от жажды

по новым звукам. Эту суть свою
впервые я осознаю на воле.
Вот так стоишь ты. Так и я стою —
звучащая, открытая для боли.

Сентябрь добавил нашим волосам
оранжевый оттенок увяданья.
Ты жить учил нас, как живешь ты сам —
напрягшись для последнего свиданья.

Сентябрь, ты богом приходился нам,
нас создавал по своему подобию.
Но, как пристало поступать богам,
нас, беззащитных, не отдай потопу.

Освободи нас от дурных примет,
утешь эту тяжелую тревогу.
О, позабавься! Покажи пример
немилосердному, скупому богу.

IV

Мы соблюдаем правила зимы.
Играем мы, не уступая смеху
и придавая очертанья снегу,
приподнимаем белый снег с земли.

И будто бы предчувствуя беду,
прохожие толпятся у забора,
снедает их тяжелая забота:
а что с тобой имеем мы в виду?

Мы бабу лепим — только и всего.
О, это торжество и удивленье,
когда и высота и удлинение
зависят от движенья твоего.

Ты говоришь: «Смотри, как я леплю».
Действительно, как хорошо мы лепим
и форму от бесформенности лечим!
Я говорю: «Смотри, как я люблю».

Снег уточняет все свои черты
и слушается нашего приказа.
И вдруг я замечаю, как прекрасно
лицо, что к снегу обращаешь ты.

Проходим мы по белому двору,
мимо прохожих, с выраженьем дерзким.
С лицом таким же пристальным и детским,
дай Бог любимому всегда играть в игру!

Поддайся его долгову труду,
о моего любимого работа!
Даруй ему удачливость ребенка,
рисующего домик и трубу.

V

Темнеет наше отдаленье,
нарушенное, позади.
Как щедро это одаренье
меня с тобой! Но погоди —

любимых так не привечают.
О нежности перерасход!
Он все пределы превышает.
К чему он дальше приведет?

Так — жемчугами осыпают,
и не спасает нас навес,
так музыкаю осеняют,
так — дождик падает с небес.

Так ты протягиваешь руки
навстречу моему лицу,
и в этом — запахи и звуки,
как будто вечером в лесу.

Так — головой в траву ложатся,
так — держат руки на груди
и в небо смотрят. Так — лишаются
любимого. Но погоди —

сентябрь ответит за растрату
и волею календаря
еще изведает расплату
за то, что крал у октября.

И мы причастны к этой краже.
Сентябрь, все кончено? Листы
уж падают? Но мы-то — краше,
но мы надежнее, чем ты.

Да, мы немалый шанс имеем
не проиграть. И говорю:
— Любимый, будь высокомерен
и холоден к календарю.

Наш праздник им не обозначен.
Вне расписания его
мы вместе празднуем и плачем
на гребне пира своего.

Все им предписанные будни
как воскресения летят,
и музыка играет в бубны,
и карты бубнами лежат.

Зато как Новый год был жалок.
Разлука, будни и беда
плясали там. Был воздух жарок,
а лед был груб. Но и тогда

там елки не было. Там было
иное дерево. Оно —
сияло и звалось рябина,
как в сентябре и быть должно.

VI

Сентябрь — чужак и выживать мастак.
Быть может, он не разминется с нами,
пока не будет так, не будет так,
что мы его покинем сами.

И станет он покинутый тобой,
и осень обнажит свои прорехи,
и мальчики и девочки гурьбой
появятся, чтоб собирать орехи.

Вот щелкают и потрошат кусты,
репейники приклеивают к платью
и говорят: — А что же плачешь ты? —
Что плачу я? Что плачу?

Наладится такая тишина,
как под водой, как под морской водою.
И надо жить. У жизни есть одна
привычка — жить, чтоб ни было с тобою.

Изображать счастливую чету,
и отдышаться в этой жизни мирной,
и преступить заветную черту
блаженной тупости. Но ты, мой милый,

ты на себя не принимай труда
печалиться. Среди зимы и лета,
в другие месяцы — нам никогда
не испытать оранжевого цвета.

Отпразднуем последнюю беду.
Рябиновые доломаем ветки.
Клянусь тебе двенадцать раз в году:
я в сентябре. И буду там вовеки.

6, 7, 8 января

1960 года

* * *

К. А. и Я. С. Рыкачевым

Опять в природе перемена,
окраска зелени груба,
и высится высокомерно
фигура белого гриба.

И этот сад собой являет
все небеса и все леса,
и выбор мой благословляет
лишь три любимые лица.

При свете лампы умирает
слепое тело мотылька,
и пальцы золотом марает,
и этим брезгует рука.

Ах, Господи, как в это лето
покой в душе моей велик.
Так радуге избыток цвета
желать иного не велит.

Так завершенная окружность
сама в себе заключена,
и лишнего штриха ненужность
ей незavidна и смешна.

МОТОРОЛЛЕР

Завиден мне полет твоих колес,
о мотороллер розового цвета!
Слежу за ним, не унимая слез,
что льют без повода в начале лета.

И девочке, припавшей к седоку
с ликующей и гибельной улыбкой,
кажусь я приникающей к листку,
согбенной и медлительной улиткой.

Прощай! Твой путь лежит поверх меня
и меркнет там, в зеленых отдаленьях.
Две радуги, два неба, два огня,
бесстыдница, горят в твоих коленях.

И тело твое светится сквозь плащ,
как стебель тонкий сквозь стекло и воду.
Вдруг из меня какой-то странный плач
выпархивает, пискнув, на свободу.

Так слабенький твой голосок поет,
и песенки мотив так прост и вечен.
Но, видишь ли, веселый твой полет
недвижностью моей уравновешен.

Затем твои качели высоки
и не опасно головокруженье,
что по другую сторону доски
я делаю обратное движенье.

Пока ко мне нисходит тишина,
твой шум летит в лужайках отдаленных.
Пока моя походка тяжела,
подъемлешь ты два крылышка зеленых.

Так проносись — я все еще стою.
Так лепечи — я все еще немею.
И легкость поднебесную твою
я искупаю тяжестью своею.

МАЗУРКА ШОПЕНА

Какая участь нас постигла,
как повезло нам в этот час,
когда бегущая пластинка
одна лишь разделяла нас!

Сначала тоненько шипела,
как уж, изъятый из камней,
но очертания Шопена
приобретала всё слышней.

И забирала круче, круче,
и обещала: быть беде,
и расходились эти круги,
как будто круги по воде.

И тоненькая, как мензурка
внутри с водицей голубой,
стояла девочка-мазурка,
покачивая головой.

Как эта, с бедными плечами,
по-польски личиком бела,
разведала мои печали
и на себя их приняла?

Она протягивала руки
и исчезала вдалеке,
сосредоточив эти звуки
в иглой исчерченном кружке.

АВГУСТ

Так щедро август звезды расточал.
Он так бездумно приступал к владенью,
и обращались лица ростовчан
и всех южан навстречу их паденью.

Я добрую благодарю судьбу.
Так падали мне на плечи созвездья,
как падают в заброшенном саду
сирени неопрятные соцветья.

Подолгу наблюдали мы закат,
соседей наших клавиши сердили.
К старинному роялю музыкант
склонял свои печальные седины.

Мы были звуки музыки одной.
О, можно было инструмент расстроить,
но твоего созвучия со мной
нельзя было нарушить и расторгнуть.

В ту осень так горели маяки,
так недалеко звезды пролегли,
бульварами шагали моряки,
и девушки в косынках пробегали.

Всё то же там паденье звезд и зной,
всё так же побережье неизменно.
Лишь выпали из музыки одной
две ноты, взятые одновременно.

АВТОМАТ С ГАЗИРОВАННОЙ ВОДОЙ

Вот к будке с газированной водой,
всех автоматов баловень надменный,
таинственный ребенок современный
подходит, как к игрушке заводной.

Затем, самонадеянный фантаст,
монету влажную он опускает в щелку
и, нежным брызгам подставляя щеку,
стаканом ловит розовый фонтан.

О, мне б его уверенность на миг
и фамильярность с тайною простою!
Но нет, я этой милости не стою:
пускай прольется мимо рук моих.

А мальчуган, причастный чудесам,
несет в ладони семь стеклянных граней,
и отблеск их летит на красный гравий
и больно ударяет по глазам.

Робея, я сама вхожу в игру,
и поддаюсь с блаженным чувством риска
соблазну металлического диска,
и замираю, и стакан беру.

Воспрянув из серебряных оков,
родится омут сладкий и соленый,
неведомым дыханьем населенный
и свежей толчеею пузырьков.

Все радуги, возникшие из них,
пронзают небо в сладости короткой,
и вот уже, разнеженный щекоткой,
семь вкусов спектра пробует язык.

И автомата темная душа
взирает с доброю старомодной,
словно крестьянка, что рукой холодной
даст путнику напиток из ковша.

ДУЭЛЬ

И снова, как огни мартенов,
Огни грозы над головой. . .
Так кто же победил: Мартынов
Иль Лермонтов в дуэли той?
Дантес иль Пушкин? Кто там первый?
Кто выиграл и встал с земли?
Кого дорогой этой белой
На черных санках повезли?
Но как же так — по всем приметам
Другой там выиграл, другой,
Не тот, кто на снегу примятом
Лежал курчавой головой!
Что делать, если в схватке дикой
Всегда дурак был на виду,
Меж тем как человек великий,
Как мальчик, попадал в беду. . .

Чем я утешу пораженных
Ничтожным превосходством зла,
Осмеянных и отчужденных
Поэтов, погибавших зря?
Я так скажу: на самом деле,
Давным-давно, который год,
Забыли мы и проглядели,
Что всё идет наоборот:
Мартынов пал под той горою,
Он был наказан тяжело,
А воронье ночной порою
Его терзало и несло.
А Лермонтов зато сначала
Всё начинал и гнал коня,
И женщина ему кричала:
Люби меня! Люби меня!
Дантес лежал среди сугроба,
Подняться не умел с земли,
А мимо медленно, сурово,
Не оглянувшись, люди шли.
Он умер или жив остался —
Никто того не различал,
А Пушкин пил вино, смеялся,
Друзей встречал, озорничал.
Стихи писал, не знал печали,
Дела его прекрасно шли,
И поводила всё плечами,
И улыбалась Натали.

Для их спасения навечно
Порядок этот утвержден.
И торжествующий невежда
Приговорен и осужден.

* * *

В тот месяц май, в тот месяц мой
во мне была такая легкость,
и, расстилаясь над землей,
влекла меня погоды лётность.

Я так щедра была, щедра
в счастливом предвкушенье пенья,
и с легкомыслием щегла
я окунала в воздух перья.

Но, слава Богу, стал мой взор
и пронизательней, и строже,
и каждый вздох и каждый взлет
обходится мне всё дороже.

Я и причастна к тайнам дня.
Открыты мне его явления.
Вокруг оглядываюсь я
с усмешкой старого еврея.

Я вижу, как грачи галдят,
над черным снегом нависая,
как скучно женщины глядят,
склонившиеся над вязаньем.

И где-то, в дудочку дудя,
не соблюдая клумб и грядок,
чужое бегаёт дитя
и нарушает их порядок.

* * *

Не уделяй мне много времени,
вопросов мне не задавай.
Глазами добрыми и верными
руки моей не задевай.

Не проходи весной по лужицам,
по следу следа моего.
Я знаю — снова не получится
из этой встречи ничего.

Ты думаешь, что я из гордости
хожу, с тобою не дружу?
Я не из гордости — из горести
так прямо голову держу.

ВСТУПЛЕНИЕ В ПРОСТУДУ

Прост путь к свободе, к ясности ума —
Достаточно, чтобы озябли ноги.
Осенние прогулки вдоль дороги
Располагают к этому весьма.

Грипп в октябре — всевидяц, как Господь.
Как ангелы на крыльях стрекозиных,
Слетают насморки с небес предзимних
И нашу околдовывают плоть.

Вот ты проходишь меж дерев и стен,
Сам для себя неведомый и странный,
Пока еще банальности туманной
Костей твоих не обличил рентген.

Еще ты скучен, и здоров, и груб,
Но вот тебе с улыбкой добродушной
Простуда шлет свой поцелуй воздушный,
И медленно он достигает губ.

Отныне болен ты. Ты не должник
Ни дружб твоих, ни праздничных процессий.
Благоговейно подтверждает Цельсий:
Твой сан особый средь людей иных.

Ты слышишь, как щекочет, как течет
Под мышкой ртуть, она замрет — и тотчас
Определит серебряная точность,
Какой тебе оказывать почет.

И аспирина тягостный глоток
Дарит тебе непринужденность духа,
Благие преимущества недуга
И смелости недобрый холодок.

СВЕЧА

Всего-то — чтоб была свеча,
Свеча простая, восковая,
И старомодность вековая
Так станет в памяти свежа.

И поспешит твое перо
К той грамоте витиеватой,
Разумной и замысловатой,
И ляжет на душу добро.

Уже ты мыслишь о друзьях
Всё чаще, способом старинным,
И сталактитом стеариным
Займешься с нежностью в глазах.

И Пушкин ласково глядит,
И ночь прошла, и гаснут свечи,
И нежный вкус родимой речи
Так чисто губы холодит.

ПЕЙЗАЖ

Еще ноябрь, а благодать
Уж сыплется, уж смотрит с неба.
Иду и хоронюсь от света,
Чтоб тенью снег не утруждать.

О стеклодув, что смысл дутья
Так выразил в сосульках этих!
И, запрокинув свой беретик,
На вкус их пробует дитя.

И я, такая молодая,
Со сладкой льдинкою во рту,
Оскальзываясь, приседая,
По снегу белому иду.

МАГНИТОФОН

В той комнате под чердаком,
В той нищенской, в той суверенной,
Где старомодным чудаком
Задор владеет современный,

Где вокруг нечистого стола,
Среди беды претенциозной,
Капроновые два крыла
Проносит ангел грациозный, —

В той комнате, в тиши ночной,
Во глубине магнитофона,
Уже не защищенный мной,
Мой голос плачет отвлеченно.

Я знаю — там, пока я сплю,
Жестокий медиум колдует
И душу слабую мою
То жжет, как свечку, то задует.

И гоголевской Катериной
В зеленом облаке окна
Танцует голосок старинный
Для развлечения колдуна.

Он так испуганно и кротко
Является чужим очам,
Как будто девочка-сиротка,
Запроданная циркачам.

Мой голос, близкий мне досель,
Воспитанный моей гортанью,
Лукавящий на каждом «эль»,
Невнятно склонный к заиканью,

Возникший некогда во мне,
Моим губам еще родимый,
Вспорхнув остался в стороне,
Как будто вздох необратимый.

Одет бесплотной наготой,
Изведавший ее приятность,
Уж он вкусил свободы той
Бесстыдство и невероятность.

И в эту ночь там, из угла,
Старик к нему взывает снова,
В застиранные два крыла
Целуя ангела ручного.

Над их объятием дурным
Магнитофон во тьме хлопочет,
Мой бедный голос пятки им
Прозрачным пальчиком щечочет.

Пока я сплю — злорадству их
Он кажет нежные изъяны
Картавости — и снов моих
Нецеломудренны туманы.

* * *

По улице моей который год
Звучат шаги — мои друзья уходят.
Друзей моих медлительный уход
Той темноте за окнами угоден.

Запущены моих друзей дела,
Нет в их домах ни музыки, ни пенья,
И лишь, как прежде, девочки Дега
Голубенькие оправляют перья.

Ну что ж, ну что ж; да не разбудит страх
Вас, беззащитных, среди этой ночи.
К враждебности таинственная страсть,
Друзья мои, туманит ваши очи.

О одиночество, как твой характер крут!
Посверкивая циркулем железным,
Как холодно ты замыкаешь круг,
Не внемля увереньям бесполезным.

Так позови меня и награди!
Твой баловень, обласканный тобою,
Утешусь, прислонясь к твоей груди,
Умоюсь твоей стужей голубою.

Дай стать на цыпочки в твоём лесу,
На том конце замедленного жеста
Найти листву и поднести к лицу
И ощутить сиротство как блаженство.

Даруй мне тишь твоих библиотек,
Твоих концертов строгие мотивы,
И — мудрая — я позабуду тех,
Кто умерли или доселе живы.

И я познаю мудрость и печаль,
Свой тайный смысл доверяю мне предметы.
Природа, прислонясь к моим плечам,
Объявит свои детские секреты.

И вот тогда из слез, из темноты,
Из бедного невежества бывшего
Друзей моих прекрасные черты
Появятся и растворятся снова.

ГЛАВЫ ИЗ ПОЭМЫ

(О Пастернаке)

1

Начну издалека, не здесь, а там,
начну с конца, но он и есть начало.
Был мир как мир. И это означало
все, что угодно в этом мире вам.

В той местности был лес, как огород, —
так невелик и все-таки обширен.
Там, прихотью младенческих ошибок,
все было так и все наоборот.

На маленьком пространстве тишины
был дом как дом. И это означало,
что женщина в нем головой качала
и рано были лампы зажжены.

Там труд был легок, как урок письма,
и кто-то — мы еще не знали сами —
замаливал один пред небесами
наш грех несовершенного ума.

В том равновесье меж добром и злом
был он повинен. И земля летела
неосторожно, как она хотела,
пока свеча горела над столом.

Прощалось и невежде и лгуну —
какая разница? — пред белым светом,
позволив нам не хлопотать об этом,
он искупал всеобщую вину.

Когда же им оставленный пробел
возник над миром, около восхода,
толчком заторможенная природа
переместила тяжесть наших тел.

Объединенных бедною гурьбой,
врасплох нас наблюдала необъятность,
и наших недостойнств неприглядность
уже никто не возмещал собой.

В тот дом езжали многие. И те
два мальчика в рубашках полосатых
без робости вступали в палисадник
с малиною, темневшей в темноте.

Мне доводилось около бывать,
но я чужда привычке современной
налаживать контакт несоразмерный,
в знакомстве быть и имя называть.

По вечерам мне выпадала честь
смотреть на дом и обращать молитву
на дом, на палисадник, на малину —
то имя я не смела произнести.

Стояла осень, и она была
лишь следствием, но не залогом лета.
Тогда еще никто не знал, что эта
окружность года не была кругла.

Сурово избегая встречи с ним,
я шла в деревья, в неизбежность встречи,
в простор его лица, в протяжность речи...
Но рифмовать пред именем твоим?
О, нет.

Он неожиданно вышел из убогой чащи переделкинских деревьев поздно вечером, в октябре, более двух лет назад. На нем был грубый и опрятный костюм охотника: синий плащ, сапоги и белые вязаные варежки. От нежности к нему, от гордости к себе я почти не видела его лица — только ярко-белые вспышки его рук во тьме слепили мне уголки глаз. Он сказал: «О, здравствуйте! Мне о вас рассказывали, и я вас сразу узнал». И вдруг, вложив в это неожиданную силу переживания, взмолился: «Ради Бога! Извините меня! Я именно теперь должен позвонить!». Он вошел было в маленькое здание какой-то конторы, но резко вернулся, и из крошечной темноты мне в лицо ударило, плеснуло яркой светлостью его лица, лбом и скулами, люминесцирующими при слабой луне. Меня охватил сладко-ледяной, шекспировский холодок за него. Он спросил с ужасом: «Вам не холодно? Ведь дело к ноябрю?» — и, смутившись, неловко впятился в низкую дверь. Прислонясь к стене, я телом, как глухой, слышала, как он говорил с кем-то, словно настойчиво оправдываясь перед ним, окружая его заботой и любовью голоса. Спина и ладонями я впитывала диковинные приемы его речи — нарастающее пение фраз, доброе восточное бормотание, обращенное в невнятный трепет и гул дощатых перегородок. Я, и дом, и кусты вокруг нечаянно попали в обильные объятия этой округлолюбовной, величественно-деликатной интонации. Затем он вышел, и мы сделали несколько шагов по заросшей пнями, сучьями, изгородями, чрезвычайно неудобной для ходьбы земле. Но он как-то легко и по-домашнему ладил с корявой бездной, сгустившейся вокруг нас, — с выпяченными, дешево сверкающими звездами, с впадиной на месте луны, с грубо поставленными, неуютными деревьями. Он сказал: «Отчего вы никогда не заходите? У меня иногда бывают очень милые и интересные люди — вам не будет скучно. Приходите же! Приходите завтра». От низкого головокружения, овладевшего мной, я

ответила почти надменно: «Благодарю вас. Как-нибудь я непременно найду».

Из леса, как из-за кулис актер,
он вынес вдруг высокопарность позы,
при этом не выгадывая пользы
у зрителя — и руки распростер.

Он сразу был театром и собой,
той древней сценой, где прекрасны речи.
Сейчас начало! Гаснет свет! Сквозь плечи
уже мерцает фосфор голубой.

— О, здравствуйте! Ведь дело к ноябрю —
не холодно ли? — вот и все, не боле.
Как он играл в единственной той роли
всемирной ласки к людям и зверью.

Вот так играть свою игру — шутя!
всерьез! до слез! навеки! не лукавя! —
как он играл, как, молоко лакая,
играет с миром зверь или дитя.

— Прощайте же! — так петь между людьми
не принято. Но так поют у рампы,
так завершают монолог той драмы,
где речь идет о смерти и любви.

Уж занавес! Уж освещает тьму!
Еще не все: — Так заходите! завтра! —
О, тон гостеприимного азарта,
что ведом лишь грузинам, как ему.

Но должен быть такой на свете дом,
куда войти — не знаю! невозможно!
И потому, навек неосторожно,
я не пришла ни завтра, ни потом.

Я плакала меж звезд, деревьев и дач —
после спектакля, в гаснущем партере,
над первым предвкушением потери
так плачут дети, и велик их плач.

II

Он утверждал — «Между теплиц
и льдин, чуть-чуть южнее рая,
на детской дудочке играя,
живет вселенная вторая
и называется — Тифлис».

Ожог глазам, рукам — простуда,
любовь моя, мой плач — Тифлис!
природы вогнутый карниз,
где Бог капризный, впав в каприз,
над миром примостил то чудо.

Возник в моих глазах туман,
брала разбег моя ошибка,
когда тот город зыбко-зыбко
лег полукружьем, как улыбка
благословенных уст Тамар.

Не знаю для какой потехи
сомкнул он надо мной овал,
поцеловал, околдовал
на жизнь, на смерть и наповал —
быть вечным узником Метехи.

О, если бы из вод Куры
не пить мне!
И из вод Арагвы
не пить!

И сладости отравы
не ведать!
И лицом в те травы
не падать!

И вернуть дары,
что ты мне, Грузия, дарила!
Но поздно! Уж отпит глоток,
и вечен хмель, и видит Бог,
что сон мой о тебе — глубок,
как Алазанская долина.

ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ

О, как люблю я пребыванье рук
в блаженстве той свободы пустяковой,
когда былой уже закончен труд
и — лень и сладко труд затеять новый.

Как труд былой томил меня своим
небыстрым ходом! Но — за проволочку —
теперь сполна я расквиталась с ним,
пощечиной в него влепивши точку.

Меня прощает долгожданный сон.
Целует в лоб младенческая легкость.
Свободен — легкомысленный висок.
Свободен — спящий на подушке локоть.

Смотри, природа, — розов и мордаст,
так кротко спит твой бешеный сангвиник,
всем утомленьем вклеившись в матрац,
как зуб в десну, как дерево в суглинок.

О, спать да спать, терпеть счастливый гнет
неведенья рассудком безрассудным.
Но день воскресный уж баклуши бьет
то детским плачем, то звонком посудным.

Напялив одичавший уют
чужой плечам, остывшей за ночь кофты,
хозяйки, чтоб хозяйничать, встают,
и пробуждает ноздри запах кофе.

Пора вставать! Бесстрастен и суров,
холодный душ уже развесил розги.
Я прыгаю с постели, как в сугроб —
из бани, из субтропиков — в морозы.

Под гильотину ледяной струи
с плеч голова покорно полетела.
О умывальник, как люты твои
чудовища — вода и полотенце.

Прекрасен день декабрьской теплоты,
когда туманы воздух утолщают,
и зрелых капель чистые плоды
бесплодые зимних веток утешают.

Ну что ж, земля, сегодня — отдых мой,
ликую я — твой добрый обыватель,
вдыхатель твоей влажностью густой,
твоих сосулек теплых обрыватель.

Дай созерцать твой белый свет и в нем
не обнаружить малого пробела,
который я, в усердии моем,
восполнить бы желала и умела.

Играя в смех, в иные времена,
нога ледок любовно расколола.
Могуществом кофейного зерна
язык так пьян, так жаждет разговора.

И, словно дым, затмивший недра труб,
глубоко в горле возникает голос.
Ко мне крадется ненасытный труд,
терпящий новый и веселый голод.

Ждет насыщенья звуков немота,
зияя пустотою, как скворешник,
весну корящий, — разве не могла
его наполнить толчеей сердечек?

Прощай соблазн воскресный! Меж дерев
мне не бродить. Но что все это значит?
Бумаги белый и отверстый зев
ко мне взывает и участия алчет.

Иду — поить губами клюв птенца,
наскучившего и опять родного.
В ладонь склоняюсь тяжестью лица
и из безмолвья вызволяю слово.

В неловкой позе у стола присев,
располагаю голову и плечи,
чтоб обижал и ранил их процесс,
к устам влекущий восхождение речи.

Я — мускул, нужный для ее затей.
Речь так спешит в молчанье не погибнуть,
свершить звукорождение и затем
забыть меня навеки и покинуть.

Я для нее — лишь дудка, чтоб дудеть.
Пушкой дудит и веселит окрестность.
А мне опять — заснуть, как умереть,
и пробудиться утром, как воскреснуть.

МАЛЕНЬКИЕ САМОЛЕТЫ

Ах, мало мне другой заботы,
обременяющей чело, —
мне маленькие самолеты
всё снятся, не пойму с чего.

Им всё равно, как снится мне:
то, как птенцы, с моей ладони
они зерно берут, то в доме
живут, словно сверчки в стене.

Иль тычутся в меня они
носами глупыми: рыбешка
так ходит возле ног ребенка,
щекочет и смешит ступни.

Порой вкруг моего огня
они толкаются и слепнут,
читать мне не дают, и лепет
их крыльев трогает меня.

Еще придумали: детьми
ко мне пришли и со слезами,
едва с моих колен слезали,
кричали: «На руки возьми!»

Прогонишь — снова тут как тут:
из темноты, из блеска ваксы,
кося белком, как будто таксы,
тела их долгие плывут.

Что ж, он навек дарован мне —
сон жалостный, сон современный,
и в нем — ручной, несоразмерный
тот самолетик в глубине?

И все же, отрезвев от сна,
иду я на аэродромы —
следить огромные те громы,
озвучившие времена.

Когда в преддверье высоты
всесильный действует пропеллер,
я думаю — ты все проверил,
мой маленький? Не вырос ты.

Ты здесь огромным серебром
всех обманул — на самом деле
ты — крошка, ты — дитя, ты — еле
заметен там, на голубом.

И вот мерцаем мы с тобой
на разных полюсах пространства.
Наверно, боязно расстаться
тебе со мной — такой большой?

Но там, куда ты вознесен,
во тьме всех позывных мелодий,
пускай мой добрый, странный сон
хранит тебя, о самолетик!

ОЗНОБ

Хвораю, что ли, — третий день дрожу,
как лошадь, ожидающая бега.
Надменный мой сосед по этажу
и тот вскричал:
— Как вы дрожите, Белла!

Но образумьтесь! Странный ваш недуг
колеблет стены и сквозит повсюду.
Моих детей он воспаляет дух
и по ночам звонит в мою посуду.

Ему я отвечала:

— Я дрожу
всё более без умысла худого.
А впрочем, передайте этажу,
что вечером я уйду из дома.

Но этот трепет так меня трепал,
в мои слова вставлял свои ошибки,
моей ногой приплясывал, мешал
губам соединиться для улыбки.

Сосед мой, перевесившись в пролет,
следил за мной брезгливо, но без фальши.
Его я обнадежила:

— Пролог
вы наблюдали. Что-то будет дальше?

Моей болезни не скучал сюжет!
В себе я различала, с чувством скорбным,
мельканье диких и чужих существ,
как в капельке воды под микроскопом.

Всё тяжелей меня хлестала дрожь,
вбивала в кожу острые гвоздочки.
Так по осине ударяет дождь,
наказывая все ее листочки.

Я думала: как быстро я стою!
Прочь мускулы несутся и режутся!
Мое же тело, свергнув власть мою,
ведет себя свободно и развязно.

Оно всё дальше от меня! И вдруг
оно исчезнет вольно и опасно,
как ускользает шар из детских рук
и ниточку разматывает с пальца?

Всё это мне не нравилось.
Врачу
сказала я, хоть перед ним робела:
— Я, знаете, горда и не хочу
сносить и впредь непослушанье тела.

Врач объяснил:
— Ваша болезнь проста.
Она была б и вовсе безобидна,
но ваших колебаний частота
препятствует осмотру — вас не видно.

Вот так, когда вибрирует предмет
и велика его движений малость,
он зрительно почти сведен на нет
и выглядит как слабая туманность.

Врач подключил свой золотой прибор
к моим приметам неопределенным,
и острый электрический прибор
охолодил меня огнем зеленым.

И ужаснулись стрелка и шкала!
Взыграла ртуть в неистовом подскоке!
Последовал предсмертный всплеск стекла,
и кровь из пальцев высекли осколки.

Встревожься, добрый доктор, оглянись!
Но он, не озадаченный нимало,
провозгласил:
— Ваш бедный организм
сейчас функционирует нормально.

Мне стало грустно. Знала я сама
свою причастность к этой высшей норме.
Не уместаясь в узости ума,
плыл надо мной ее чрезмерный номер.

И многозначной цифрою мытарств
наученная нервная система,
пробившись, как пружины сквозь матрац,
рвала мне кожу и вокруг свистела.

Уродующий кисть огромный пульс
всегда гудел, всегда хотел на волю.
В конце концов казалось: к чёрту! пусть
им захлебнусь, как Петербург Невою!

А по ночам — мозг наострится, ждет.
Слух так открыт, так взвинчен тишиною,
что скрипнет дверь иль книга упадет —
и — взрыв! и — всё! и — кончено со мною!

Да, я не смела укротить зверей,
в меня вселённых, жрущих кровь из мяса.
При мне всегда стоял сквозняк дверей!
При мне всегда свеча, вдруг вспыхнув, гасла!

В моих зрачках, нависнув через край,
слезы светлела вечная громада.
Я — всё собою портила! Я — рай
растлила б грозным неуютом ада.

Врач выписал мне должную латынь,
и, с мудростью, цветущей в человеке,
как музыку по нотным запятым,
ее читала девушка в аптеке.

И вот теперь разнежен весь мой дом
целебным поцелуем валерьяны,
и медицина мятным языком
давно мои зализывает раны.

Сосед доволен, третий раз подряд
он поздравлял меня с выздоровленьем
через своих детей и, говорят,
меня хвалил пред домоуправленьем.

Я отдала визиты и долги,
ответила на письма. Я гуляю,
особо, с пользой делая круги.
Вина в шкафу держать не позволяю.

Вокруг меня — ни звука, ни души.
И стол мой умер и под пылью скрылся.
Уставили во тьму карандаши
тупые и неграмотные рыльца.

И, как у побежденного коня,
мой каждый шаг медлителен, стреножен.
Всё хорошо! Но по ночам меня
опасное предчувствие тревожит.

Мой врач еще меня не уличил,
но зря ему я голову морочу,
ведь всё, что он лелеял и лечил,
я разом обожгу иль обморожу.

Я, как улитка в костяном гробу,
спасаюсь слепотой и тишиною,
но, поболев, пощекотав во лбу,
рога антенн воспрянут надо мною.

О, звездопад всех точек и тире,
зову тебя, осыпья! Пусть я сгину,
подрагивая в чистом серебре
русалочьих мурашек, жгущих спину!

Ударь в меня, как в бубен, не жалей,
озноб, я вся твоя! Не жить нам розно!
Я — балерина музыки твоей!
Щенок озябший твоего мороза!

Пока еще я не дрожу, о нет,
сейчас о том не может быть и речи.
Но мой предусмотрительный сосед
уже со мною холоден при встрече.

УРОКИ МУЗЫКИ

Люблю, Марина, что тебя, как всех,
что как меня...

Озябшею гортанью
не говорю: тебя — как свет! как снег! —
усильем шеи будто лед глотаю,
стараюсь вымолвить: тебя, как всех,
учили музыке (о крах ученья!
Как если бы, под богов плач и смех,
свече внушали правила свеченья.)
Не ладили две равных темноты:
рояль и ты — два совершенных круга,
в тоске взаимной глухонемоты
терпя инаязычие друг друга.

Два мрачных исподлобья сведены
в неразрешимой и враждебной встрече —
рояль и ты — две сильных тишины,
два слабых горла: музыки и речи.
Но твоего сиротства перевес
решает дело. Что рояль? — он узник
безгласности, покуда в до-диез
мизинец свой не окунет союзник.

А ты — одна. Тебе — подмоги нет.
И музыке трудна твоя наука:
не утруждая ранящий предмет,
открыть в себе кровотечение звука.
Марина, до! До — детства, до — судьбы,
до-ре, до — речи, до — всего, что после
равно, как вместе, мы склоняли лбы
в той общедетской, предрояльной позе,
как ты, как ты, вцепившись в табурет! —
о карусель! о Гедике ненужность! —
раскручивать сорвавшую берет,
свистящую вокруг головы окружность.
Марина, это всё — для красоты
придуманно, в расчете на удачу
раз накричаться: я — как ты! как ты!
И с радостью бы крикнула, да — плачу.
1963. Октябрь

Моя родословная

Поэма

ОТ АВТОРА

Вычисляя свою родословную, я не имела в виду сосредоточить внимание читателя на долгих обстоятельствах именно моего возникновения в мире: это было бы слишком самоуверенной и несвоевременной попыткой. Я хотела, чтобы героем этой истории стал Человек, любовью, еще не рожденный, но как — если бы это было возможно — страстно, нетерпеливо желающий жизни, истомленный ее счастливым предчувствием и острым морозом тревоги, что оно может не сбыться. От сколького он зависит в своей незащитности, этот еще не существующий ребенок: от малой случайности и от великих военных трагедий, наносящих человечеству глубокую рану уцерб. Но всё же он выиграет в этой борьбе, и сильная, горячая, вечно прекрасная Жизнь придет к нему и одарит его своим справедливым, несравненным благом.

Проверив это удачей моего рождения, ничем не отличающегося от всех других рождений, я обратилась благодарной памятью к реальным людям и событиям, от которых оно так или иначе зависело.

Девичья фамилия моей бабушки по материнской линии — Стопани была принесена в Россию итальянским шарманщиком, который положил начало роду, ставшему впоследствии совершенно русским, но всё же прочно, во многих поколениях, украшенному яркой чернотой волос и глубокой, выпуклой теменью глаз. Родной брат бабушки, чье доброе влияние навсегда определило ее судьбу, Александр Митрофанович Стопани, стал известным революционером, сподвижником Ленина по работе в «Искре» и съездам РСДРП. Разумеется, эти стихи, упоминающие его имя, скажут о нем

меньше, чем живые и точные воспоминания близких ему людей, из коих многие ныне здравствуют.

Дед моего отца, тяжело терпевший свое казанское сиротство в лихой и многотрудной бедности, именем своим объясняет простой секрет моей татарской фамилии.

Люди эти, познавшие испытания счастья и несчастья, допустившие к милому миру мои дыхание и зрение, представляются мне прекрасными — не больше и не меньше прекрасными, чем все люди, живущие и грядущие жить на белом свете, вершащие в нем непреклонное добро Труда, Свободы, Любви и Таланта.

1

...И я спала все прошлые века
светло и тихо в глубине природы.
В сырой земле, черней черновика,
души моей лишь намечались всходы.

Прекрасна мысль — их поливать водой!
Мой стебелек, желающий прибавки,
вытягивать магнитною звездой —
поторопитесь, прадеды, прабабки!

Читатель милый, поиграй со мной!
Мы два столетья вспомним в этих играх.
Представь себе: стоит к тебе спиной
мой дальний предок, непреклонный Игрек.

Лицо его пустынно, как пустырь,
не улыбнется, слова не проронит.
Всех сыновей он по миру пустил,
и дочери он монастырь пророчит.

Я говорю ему:
— Старик дурной!
Твой лютый гнев чья доброта поправит?
Я б разминуться предпочла с тобой,
но всё ж ты мне в какой-то мере прадед.

В унылой келье дочь губить не смей!
Ведь, если ты не сжалишься над нею,
как много жизней сгинет вместе с ней,
и я тогда родиться не сумею!

Он удивлен и говорит:
— Чур, чур!
Ты кто?
Рассейся, слабая туманность!

Я говорю:
— Я — нечто.
Я — чуть-чуть,
грядущей жизни маленькая малость.

И нет меня. Но как хочу я быть!
Дождусь ли дня, когда мой первый возглас
опустошит гортань, чтоб пригубить,
о Жизнь, твой острый, бьющий в ноздри
воздух?

ВОЗРАЖЕНИЕ ИГРЕКА:

— Не дождешься. Шиш! И в том
я клянусь кривым котом,
приоткрывшим глаз зловещий,
худобой вороны вещей,

крылья вскинувшей крестом,
жабой, в тине разомлевшей,
смертью, тело одолевшей,
белизной ее белейшей
на кладбище роковом.

(ПРИМЕЧАНИЕ АВТОРА:

Между прочим, я дождусь,
в чем торжественно клянусь
жизнью вечной, влагой вешней,
каждой веточкой расцветшей,
зверем, деревом, жуком
и высоким животом
той прекрасной первой встречной
женщины добросердечной,
полной тайны бесконечной,
и красавицы притом.)

— Помолчи. Я — вечный Игрек.
Безрассудна речь твоя.
Пусть я изверг, пусть я ирод,
я-то — есть, а нет — тебя.
И не будет! Как не будет
с дочерью моей греха.
Как усопших не разбудит
восклицанье петуха.
Холод мой твой пыл остудит.
Не бывать тебе! Ха-ха!

Каков мерзавец! Пусть он держит речь.
 Нет полномочий у его злодейства,
 чтоб тесноту природы уберечь
 от новизны грядущего младенца.

Пускай договорит он до конца,
 простак недобрый, так и не прознавший,
 что уж слетают с отчего крыльца
 два локотка, два крылышка прозрачных.

Ах, итальянка, девочка, пра-пра-
 прабабушка! Неправедны, да правы
 поправшие все правила добра
 любви твоей проступки и забавы.

Поникни удрученной головой!
 Поверь лгуну! Не промедляй сомненья!
 Не он, а я, я — искуситель твой,
 затем, что алчу я возникновенья.

Спаси меня! Не плачь и не тяни!
 Отдай себя на эту злую милость!
 Отсутствуя в таинственной тени,
 небытием моим я утомилась.

И там, в моей дожити неживой,
 смертельного я натерпелась страху,
 пока тебя учил родитель твой:
 «Не смей! Не знай!» — и по щекам с размаху.

На волоске вишу! А вдруг тверда
 окажется науки той твердыня?
 И всё. Привет. Не быть мне ни-ко-гда.

Но, милая, ты знала, что творила,
когда в окно, в темно, в полночный сад
ты канула давно, неосторожно.
А он — так глуп, так мил и так усат,
что, право, невозможно... невозможно...

Благословляю в райском том саду
и дерева, и яблоки, и змия,
и ту беду, Бог весть в каком году,
и грешницу по имени Мария.

Да здравствует твой слабый, чистый след
и дальновидный подвиг той ошибки!
Вернется через полтора года лет
к моим губам прилив твоей улыбки.

Но Боговым суровым облакам
не жалуйся! Вот вырастет твой мальчик —
наплачешься. Он вступит в балаган.
Он обезьяну купит. Он — шарманщик.

Прощай же! Он прощается с тобой,
и я прощусь. Прости нас, итальянка!
Мне нравится шарманщик молодой,
и обезьянка не чужда таланта.

ПЕСЕНКА ШАРМАНЩИКА:

В саду личинка
выжить старается.
Санта-Лючия,
мне это нравится!

Горсточка мусора —
тяжесть кармана.
Здравствуйте, музыка
и обезьяна!

Милая Генуя
нянчила мальчика,
думала — гения,
вышло — шарманщика!

Если нас улица
петь обязала,
пой, моя умница,
пой, обезьяна!

Сколько народу!
Мы с тобой — невидаль.
Стража, как воду,
ловит нас неводом.

Добрые люди,
в гуще базарной,
ах, как вам любы
мы с обезьяной!

Хочется мускулам
в дали летящие
ринуться с музыкой,
спрятанной в ящике.

Ах, есть причина,
всему причина,
Са-а-нта-а-Лю-у-чия,
Санта-а-Люч-ия!

Уж я не знаю, что его влекло:
 корысть, иль блажь, иль зов любви неблизкой —
 но некогда в российское село —
 ура, ура! — шут прибыл италийский.

(А кстати, хороша бы я была,
 когда бы он не прибыл, не прокрался.
 И солнцем ты, Италия, светла,
 и морем ты, Италия, прекрасна.

Но будь добра, шарманщику не снись,
 так властен в нем зов твоего соблазна,
 так влажен образ твой между ресниц,
 что он — о, ужас! — в дальний путь собрался.

Не отпускай его, земля моя!
 Будь он неладен, странник одержимый!
 В конце концов он доведет меня,
 что я рожусь вне родины родимой.

Еще мне только не хватало: ждать
 себя так долго в нетях нелюдимых,
 мужчин и женщин стольких утруждать
 рождением предков, мне необходимых,

и не рождаться столько лет подряд, —
 рожусь ли? Все игра орла и решки, —
 и вот непоправимо, невпопад,
 в чужой земле, под звуки чуждой речи,

вдруг появиться для житья-бытья.
 Спасибо. Нет. Мне не подходит это.
 Во-первых, я — тогда уже не я,
 что очень усложняет суть предмета.

Но если б даже, чтобы стать не мной,
а кем-то, был мне грустный пропуск выдан, —
все ж не хочу свершить в земле иной
мой первый вздох и мой последний выдох.

Там и останусь, где душе моей
сушили жизнь, безжизньем истомили
и бросили на произвол теней
в домарксовом, нематерьяльном мире.

Но я шучу. Предупредить решусь:
отвергнув бремя немощи досадной,
во что бы то ни стало я рожусь
в своей земле, в апреле, в день десятый.)

...Итак, сто двадцать восемь лет назад
в России остается мой шарманщик.

4

Одновременно нужен азиат,
что нищенствует где-то и шаманит.

Он пригодится только через век.
Пока ж — пускай он по задворкам ходит,
старье берет, или вершит набег,
пускай вообще он делает, что хочет.

Он в узкоглазом племени своем
так узкоглаз, что все давались диву,
когда он шел, черно кося зрачком,
большой ноздрей принюхиваясь к дыму.

Он нищ и гол, а всё ж ему хвала!
Он сыт ничем, живет нигде, но рядом —
его меньшей сынок Ахмадулла,
как солнышком, сияет желтым задом.

Сияй, играй, мой друг Ахмадулла,
расти скорей, гляди продолговато.
А дальше так пойдут твои дела:
твой сын Валея будет отцом Ахата.

Ахатовной мне быть наверняка,
явиться в мир, как с привязи сорваться,
и усеченной полумглой зрачка
всё ж выразить открытый взор славянства.

ВОЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ТАТАРСКОЙ ПЕСНИ:

Мне скакать, мне в степи озираться,
разорять караваны во мгле.
Незапамятный дух азиатства
тяжело колобродит во мне.

Мы в костре угольки шуровали.
Как врага, я ловил ее в плен.
Как тесно облекли шаровары
золотые мечети колен!

Быстроту этих глаз, чуть косивших,
я, как птиц, целовал на лету.
Семью семь ее черных косичек
обратил я в одну темноту.

В поле — пахарь, а в воинстве — воин
будет тот, в ком воскреснет мой прах.
Средь живых — прав навеки, кто волен,
среди умерших — бессмертен, кто прав.

Эге-гей! Эта жизнь неизбывна!
Как свежо мне в ее ширине!
И ликует, и свищет зазывно,
и трясет бородой шурале.

5

Меж тем шарманщик странно поражен
лицом рябым, косицею железной:
чуть голубой, как сабля из ножен,
дворяночкой худой и бесполезной.

Бедняжечка, она несла к венцу
лба узенького детскую прыщавость,
которая ей так была к лицу
и за которую ей всё прощалось.

А далее всё шло само собой:
сближались лица, упали руки,
и в сумерках губернии глухой
старели дети, подрастали внуки.

Церквушкой бедной перекрещена,
упрощена полями да степями,
уже по-русски, ударяя в «а»,
звучит себе фамилия Стопани.

О, старина, начало той семьи,
две барышни, чья маленькая повесть
печальная, осталась там, вдали,
где ныне пусто, лишь трава по пояс.

То ль итальянца темная печаль,
то ль этой жизни мертвенная скудость
придали вечный холодок плечам,
что шалью не утешить, не окутать.

Как матери влюбленная корысть
над вашей красотой колдовала!
Шарманкой деда вас не укорить;
придавлена приданым кладовая.

Но ваших уст не украшает смех,
и не придать вам радости приданым.
Пребудут в мире ваши жизнь и смерть
недобрым и таинственным преданьем.

Недуг неимоверный, для чего
ты озарил своею вспышкой белой
не гения просторное чело,
а двух детей рассудок неумелый?

В какую малость целишь свой прыжок,
словно в Помпею слабую — Везувий?
Не слишком ли огромен твой ожог
для лобика Офелии безумной?

Ученые жить скупю да с умом,
красавицы с огромными глазами
сошли с ума, и милосердный дом
их обряжал и орошал слезами.

СПРАВКА О БОЛЕЗНИ:

Справка выдана в том...
О, как гром в этот дом
бьет огнем и метель колесом колесит.

Ранит голову грохот огромный.
И в тон
там, внизу, голоса голоски клавесин.

О, сестра, дай мне льда. Уж пробил и пропел
час полуночи. Льдом заострилась вода.
Остудить моей памяти черный пробел —
дай же, дай же мне белого льда.

Словно мост мой последний, пылает мой мозг,
острый остров сиротства замкнут навсегда.
О, Наташа, сестра, мне бы лед так помог!
Дай же, дай же мне белого льда.

Малый разум мой вырос в огромный мотор,
вкрут себя он вращает людей, города.
Не распутать мне той карусели моток.
Дай же, дай же мне белого льда.

В пекле казни горю Иоанною д'Арк,
свист зевак, лай собак, а я так молода.
Океан Ледовитый, пошли мне свой дар!
Дай же, дай же мне белого льда!

Справка выдана в том, что чрезмерен был стон
в малом горле.

Но ныне беда —
позабыта.
Земля утешает их сон
милосердием белого льда.

Конец столетья. Резкий крен основ.
 Волнение. Что там? Выстрел. Мещанина.
 Пронзительный русалочий озноб
 вдруг потрясает тело мещанина.

Предчувствие серьезной новизны
 томит и возбуждает человека.
 В тревоге пред-войны и пред-весны,
 в тумане вечеряющего века —

мерцает лбом симбирский гимназист,
 и, ширясь там, меж Волгою и Леной,
 тот свежий свет так остросеребрист
 и так существенен в судьбе вселенной.

Тем временем Стопани Александр
 ведет себя опально и престранно.
 Друзей своих он увлекает в сад,
 и речь его опасна и пространна.

Он говорит:
 — Прекрасен человек,
 принявший дар дыхания и зренья.
 В его коленях спит грядущий бег
 и в разуме живет инстинкт творенья.

Всё для него: ему назначен мед
 земных растений, труд ему угоден.
 Но всё ж он бездыханен, слеп и мертв
 до той поры, пока он не свободен.

Пока его хранимый Богом враг
 ломает прямизну его коленей
 и примеряет шутовской колпак
 к его морщинам, выдающим гений,

пока к его дыханию приник
смертельно-душной духотою горя
железного мундира воротник,
сомкнувшийся вкрут пушкинского горла.

Но все же он познает торжество
пред вечным правосудием природы.
Уж дерзок он. Стесняет грудь его
дух, укрепленный мускулом свободы.

Пусть завершится зрелостью дерев
младенчество зеленого побега.
Пусть нашу волю обостряет гнев,
а нашу смерть вознаградит победа.

Быть может, этот монолог в саду
неточно я передаю стихами,
но точно то, что в этом же году
был арестован Александр Стопани.

КОММЕНТАРИИ ЖАНДАРМА:

— Честь имею представиться:
Его Царского Величества Замечательный
Жандарм.

Я, признаться, встречу с вами
предвкушал и ожидал.

Послужили б Государю —
заслужили б орден-крест.
Не хотели. Осуждаю.
Вот вам ордер на арест.

Были вы еще недавно —
ах, Стопани Александр.
Фамилия-то какая мудреная.
Стоп! Вы ныне арестант.

Всем, кто бунты разжигал,
всем студентам —
(о стыде-то не подумая),
жидам,

и певцу, что пел свободу,
и глущу, что быть собою
обязательно желал, —
Его Царского Величества Замечательный
Жандарм,
всем я должное воздам.

Всех, кто смелостью повадок
посвягает на порядок
высочайших правд, парадов, —
вольнодумцев неприятных,
а поэтов и подавно, —
я их всех тюрьмой порадную
и засов задвину сам.
В чем клянусь верностью Государю-императору
и здоровьем милых дам.

О, распущенность природы!
Дети в ней — и те пророки,
ее яркие мазки
возбуждают все мозги.
Ликовала, разжигала,
напустила в белый свет
леопарда и жирафа,
Леонардо и Джордано,
всё кричит, имеет цвет.
Слава Богу, власть жандарма
всё, что есть, сведет на нет.

(ПРИМЕЧАНИЕ АВТОРА:

Между прочим, тот жандарм
ждал награды, хлеб жевал,
жил неважно, кончил плохо,
не заметила эпоха,
как подох он.

Никто на похороны
ни копеечки не дал.)

— Знают люди, знают дети,
что я есть живой жандарм.
А тебе на этом свете
появиться я не дам.

Как не дам идти дождям,
как не дам, чтобы в народе
помышляли о свободе,
как не дам стоять садам
в бело-розовом восходе.
Это я тебе говорю —
Его Царского Величества Замечательный
Жандарм.

8

Каков мерзавец! Пусть болтает вздор,
не повредит его закаменелость —
земле лететь, вершить глубокий вздох
и соблюдать свою закономерность.

Как надобно ведет себя земля
уже в пределах нового столетья,
и в май маевок бабушка моя
несет двух глаз огромные соцветья.

Что голосок той девочки твердит,
и плечики на что идут войною?
Над нею вновь смыкается вердикт:
«Виновна ли?» «Да, тягостно виновна!»

По следу брата, веруя ему,
она вкусила пыль дорог протяжных,
переступала из тюрьмы в тюрьму,
привыкла к монотонности присяжных.

И скоро уж на мужниных щеках
в два солнышка закатится чахотка.
Но есть все основания считать:
она грустит, а всё же ждет чего-то.

В какую даль теперь ее везут
небыстрые подковы Россинанта?
Но по тому, как снег берет на зуб,
как любит, чтоб сверкал и расстилался,
я узнаю твой облик, россиянка.
В глазах черно от белого сиянья!
Как холодно! Как лошади несут!

Выходит. Вдруг — мороз ей нов и чужд.
Сугробов белолобые телята
к ладоням льнут. Младенческая чушь
смешит уста. И нежно и чуть-чуть
в ней в полщеки проглянет итальянка,
и в чистой мгле ее лица таятся
движения неведомых причуд.

Подари отпущение мук
тем, что бились о стены и гибли, —
там, в Михайловском, замкнутом в круг,
там, в просторно-угрюмом Египте.

Дай, Свобода, высокий твой верх
видеть, знать в небосводе затихшем,
как бредущий в степи человек
близость звезд ощущает затылком.

Приближай свою ласку к земле,
совершающей дивную дивность,
навсегда предрешившей во мне
свою боль, и любовь, и родимость.

10

Ну что ж. Уже все ближе, всё верней
расчет, что попаду я в эту повесть,
конечно, если появиться в ней
мне Игрека не помешает происк.

Всё непременно чередом идет,
двадцатый век наводит свой порядок,
подрагивает, словно самолет,
предслыша небо серебром лопаток.

А та, что перламутровым белком
глядит чуть вкось, чуть невпопад и странно,
ступившая, как дети на балкон,
на край любви, на острие пространства,

та, над которой в горлышко, как в горн,
дудит апрель, насытивший скворечник, —
нацеленный в меня, прости ей, гром! —
она мне мать, и перемен скорейших
ей предстоит удача и печаль.

А ты, о Жизнь, мой мальчик, непоседа,
спеши вперед и понукай педаль
открывшего крыла велосипеда.

Пусть роль свою сыграет азиат —
он белокур, как белая ворона,
как гончую, его влечет азарт
по следу, вдаль, и точно в те ворота,

где ждут его, где воспринять должны
двух острых скул опасность и подарок.
Округлое дитя из тишины
появится, как слово из помарок.

11

Я — скоро. Но куда нет меня.
Я — где-то там, в преддверии природы.
Вот-вот окликнут, разрешат — и я
с готовностью возникну на пороге.

Я жду рожденья, я спешу теперь,
как посетитель в тягостной приемной,
пробить бюрократическую дверь
всем телом — и предстать в ее проеме.

Ужо рожусь! Еще не рождена.
Еще не пала вещая щеколда.
Никто не знает, что я — вот она,
темно, смешно. Алчхи! В носу щекотно.

Вот так играют дети, прячась в шкаф,
испытывая радость отдаленья.
Сейчас расхохочусь! Нет сил! И ка-ак
вдруг вывалюсь вам всем на удивленье!

Таюсь, тянусь, претерпеваю рост,
вломлюсь птенцом горячим, косоротым —
ловить губами воздух, словно гроздь,
наполненную спелым кислородом.

Сравнится ль бледный холодок актрис,
трепещущих, что славы не добьются,
с моим волненьем среди тех кулис,
в потемках, за минуту до дебюта!

Еще не знает речи голос мой,
еще не сбылся в легких вздох голодный.
Мир наблюдает смутной белизной,
сурово излучаемой галеркой.

(Как я смогу, как я сыграю роль
усильем безрассудства молодого?
Как перейду, преодолевая боль,
от немоты к началу монолога?)

Сумею ли прожить игру — шутя,
всерьез, до слез, навеки, не лукавя,
как дождь идет, как зверь или дитя
играют с миром, молоко лакая.

Как стеклодув, чьи сильные уста
взрастили дивный плод стекла простого,
играть и знать, что жизнь твоя проста
и выдох твой имеет форму слова.

Иль как печник, что краснотою труб
замаранный, сидит верхом на доме,
захочотать и ощутить свой труд
блаженною усталостью ладони.

Так пусть же грянет тот театр, тот бой
меж «да» и «нет», небытием и бытом,
где человек обязан быть собой
и каждым нерожденным и убитым.

Своим добром он возместит земле
всех сыновей ее, в ней погребенных.
Вершит всевечный свой восход во мгле
огромный, голый, золотой Ребенок.)

Уж выход мой! Мурашками, спиной
предчувствую прыжок свой на арену.
Уже объявлен год тридцать седьмой.
Сейчас, сейчас — дадут звонок к апрелю.

РЕПЛИКА ДОБРОЖЕЛАТЕЛЯ:

О, нечто, крошка, пустота,
еще не девочка, не мальчик,
ничто, чужого пустяка
пустой и маленький туманчик!

Зачем, неведомый радист,
ты шлешь сигналы пробужденья?
Повремени и не родись,
не попади в беду рожденья.

Нераспрямленный организм,
закрученный кривой пружинкой,
о, образумься, оглянись!
Я — умник, много лет проживший,

я говорю: потом, потом
тебе родиться будет лучше.
А не родишься — что же, в том
всё ж есть свое благополучье.

Помедли двадцать лет хотя б,
утешься беззаботной ленью,
блаженной слепотой котят,
столь равнодушных к утопленью.

Что так не терпится тебе,
и, как птенец в тюрьме скорлупок,
ты спешку точек и тире
всё выбиваешь клювом глупым?

Чем плохо там — во тьме пустой,
где нет тебе ни слез, ни горя?
Куда ты так спешишь? Постой!
Родится что-нибудь другое.

(ПРИМЕЧАНИЕ АВТОРА:

Ах, умник! И другое пусть
родится тоже непременно, —
всей музыкой озвучен пульс,
прямо позвоночник, как антенна.

Но для чего же мне во вред
ему прийти и стать собою?
Что ж, он займет весь белый свет
своею малой худобою?

Мне отведенный кислород,
которого я жду веками,
неужто он до дна допьет
один, огромными глотками?

Моих друзей он станет звать
своими? Всё наглей, всё дальше
они там будут жить, гулять
и про меня не вспомнят даже?

А мой родимый, верный труд,
в глаза глядящий так тревожно,
чужою властью новых рук
ужели приручить возможно?

Ну, нет! В какой во тьме пустой?
Сам там сиди. Довольно. Дудки.
Наскучив мной, меня в простор
выбрасывают виадуки!

И в солнце, среди синевы
расцветшее, нацелясь мною,
меня спускают с тетивы
стрелюю с тонкою спиною.

Веселый центробежный вихрь
меня из круга вырвать хочет.
О, Жизнь, в твою орбиту вник
меня таинственный комочек!

Твой золотой круговорот
так призывает к полнокровью,
словно сладчайший огород,
красно дразнящий рот морковью.

О, Жизнь любимая, пускай
потом накажешь всем и смертью,
но только выуди, поймай,
достань меня своею сетью!

Дай выгадать мне белый свет —
одну-единственную пользу!

— Припомнишь, дура, мой совет
когда-нибудь. Да будет поздно.

Зачем ты ломишься во вход,
откуда нет освобожденья?
Ведь более удачный год
ты сможешь выбрать для рожденья.

Как безопасно, как легко,
вне гнева века или ветра —
не стать. И не принять лицо,
талант и имя человека.

12

Каков мерзавец! Но, среди всех затей,
любой наш год — утешен, обнадежен
неистовым рождением детей,
мельканьем ножек, пестротой одежек.

И в их великий и всемирный рев,
захлебом насыщая древний голод,
гортань прорезав чистым острием,
вонзился мой, ожегший губы голос!

Пусть вечно он благодарит тебя,
земля, меня исторгшая, родная,
в печаль и в радость, и в трубу трубя,
и в маленькую дудочку играя.

Мне нравится, что Жизнь всегда права,
что празднует в ней вечная повадка —
топырить корни, ставить дерева
и меж ветвей готовить плод подарка.

Пребуду в ней до края, до конца,
а пред концом — воздам благодаренье
всем девочкам, слетающим с крыльца,
всем людям, совершающим творенье.

13

Что еще вам сказать?

Я не знаю.

И не знаю, я одобрена вами
иль справедливо и бегло охаяна.

Но проносятся пусть надо мной
ваши лица и ваши слова.

Написала всё это Ахмадулина Белла Ахатовна.

Год рождения — 1937. Место рождения —
город Москва.

В МЕТРО НА ОСТАНОВКЕ
«СОКОЛ»

Не знаю, что со мной творилось,
не знаю, что меня влекло.
Передо мною отворилось,
распавшись надвое, стекло.

В метро, на остановке «Сокол»,
моя поникла голова.
Спросив стакан с томатным соком,
я простояла час и два.

Я что-то вспомнить торопилась
и говорила невпопад:
— За красоту твою и милость
благодарю тебя, томат.

За то, что влагою ты влажен,
за то, что овощем ты густ,
за то, что красен и отважен
твой детский поцелуй вокруг уст.

А люди в той неразберихе,
направленные вверх и вниз,
как опаляющие вихри,
над головой моей неслись.

У каждой девочки, скользящей
по мрамору, словно по льду,
опасный, огненный, косящий
зрачок огромный цвел во лбу.

Вдруг всё , что тех людей казнило,
всё, что им было знать дано,
в меня впилося легко и сильно,
словно иголка в полотно.

И утомленных женщин слезы,
навек прилипшие к глазам,
по мне прошли, будто морозы
по обнаженным деревьям.

Но тут владычица бужета,
вся белая, как белый свет,
воскликнула:

— Да что же это!

Уйдешь ты всё же или нет?

Ах, деточка, мой месяц ясный,
пойдем со мною, брось тужить!
Мы в роце Марьиной прекрасной
с тобой две Марьи будем жить.

В метро, на остановку «Сокол»,
с тех пор я каждый день хожу.
Какой-то горестью высокой
горюю и вокруг гляжу.

И к этой Марье бесподобной
припав, как к доброму стволу,
потягиваю сок холодный
иль просто около стою.

СОН

О опрометчивость моя!
Как видеть сны мои решаюсь?
Так дорого платить за шалость —
заснуть?
Но засыпаю я.

И снится мне, что свеж и скуп
сентябрьский воздух. Всё знакомо:
осенняя пригожесть дома,
вкус яблок, не сходящий с губ.

Но незнакомый садовод
возделывает сад знакомый
и говорит, что он законный
владелец.
И войти зовет.

Войти? Как можно? Столько раз
я знала здесь печаль и гордость,
и нежную шагов нетвердость,
и нежную незрячесть глаз.

Уж минуло так много дней.
А нежность — облаком вчерашним,
а нежность — обмороком влажным
меня омыла у дверей.

Но садоводова жена
меня приветствует жеманно.
Я говорю:
— Как здесь туманно...
И я здесь некогда жила.

Я здесь жила лет сто назад.
— Лет сто? Вы шутите?
— Да нет же!
Шутить теперь? Когда так нежно
моим столетьем пахнет сад?

Сто лет прошло, а всё свежи
в ладонях нежности
к родимой
коре деревьев.
Запах дымный
вокруг всё тот же.
— Не скажи! —
промолвил садовод в ответ.
Затем спросил:
— Под паутиной,
со старомодной челкой длинной,
не ваш ли в чердаке портрет?

Ваш сильно изменился взгляд
с тех давних пор, когда в кручине,
не помню, по какой причине,
вы умерли — лет сто назад.
— Возможно, но жить так давно,
лишь тенью в чердаке остаться,
а всё затем, чтоб не расстаться
с той нежностью?
Вот что смешно.

МОИ ТОВАРИЩИ

* * *

— Пока! — товарищи прощаются со мной.
— Пока! — я говорю. — Не забывайте! —
Я говорю: — Почаще здесь бывайте! —
пока товарищи прощаются со мной.

Мои товарищи по лестнице идут,
и поднимаются их голоса обратно.
Им надо долго ехать — до Арбата,
до набережной, где их дома ждут.

Я здесь живу. И памятливы давно
мне все приметы этой обстановки.
Мои товарищи стоят на остановке,
и долго я смотрю на них в окно.

Им летний дождик брызжет на плащи,
и что-то занимается другое.
Закрыв окно, я говорю: — О горе,
входи сюда, бесчинствуй и пляши!

Мои товарищи уехали домой,
они сидели здесь и говорили,
еще восходит над столом дымок —
это мои товарищи курили.

Но вот приходит человек иной.
Лицо его покойно и довольно.
И я смотрю и говорю: — Довольно!
Мои товарищи так хороши собой!

Он улыбается: — Я уважаю их.
Но вряд ли им удастся отличиться.
— О, им еще удастся отличиться
от всех постылых подвигов твоих.

Удачам все завидуют твоим —
и это тоже важное искусство,
и все-таки другое есть Искусство —
мои товарищи, оно открыто им.

И снова я прощаюсь: — Ну, всего
хорошего, во всем тебе удачи!
Моим товарищам ненадобно удачи!
Мои товарищи добьются своего!

* * *

Когда моих товарищей корят,
я понимаю слов закономерность,
но нежности моей закаменелость
мешает слушать мне, как их корят.

Я горестно упрекам этим внемлю,
я головой киваю: слаб Андрей!
Он держится за рифму, как Антей
держался за спасительную землю.

За ним я знаю недостаток злой:
кощунственно венчать «гараж» с «геранью»,
и все-таки о том судить Гераклу,
поднявшему Антея над землей.

Оторопев, он свой автопортрет
сравнил с аэропортом —
это глупость.
Гораздо больше в нем азарт и гулкость
напоминают мне автопробег.

И я его корю: зачем ты лих?
Зачем ты воздух детским лбом таранишь?
Всё это так. Но все ж он мой товарищ.
А я люблю товарищей моих.

Люблю смотреть, как, прыгнув из дверей,
выходит мальчик с резвостью жонглера.
По правилам московского жаргона
люблю ему сказать: «Привет, Андрей!»

Люблю, что слова чистого глоток,
как у скворца, поигрывает в горле.
Люблю и тот, неведомый и горький,
серебряный какой-то холодок.

И что-то в нем, хвали или кори,
есть от пророка, есть от скомороха,
и мир ему — горяч, как сковородка,
сжигающая руки до крови.

Всё остальное ждет нас впереди.
Да будем мы к своим друзьям пристрастны!
Да будем думать, что они прекрасны!
Терять их страшно, Бог не приведи!

СКАЗКА О ДОЖДЕ

в нескольких эпизодах, с диалогами и хором детей

I

Со мной с утра не расставался Дождь.
— О, отвяжись! — я говорила грубо.
Он отступал, но преданно и грустно,
вновь шел за мной, как маленькая дочь.

Дождь как крыло прирос к моей спине.
Его корила я:
— Стыдись, негодник!
К тебе в слезах взывает огородник,
иди к цветам!
Что ты нашел во мне?

Меж тем вокруг стоял суровый зной.
Дождь был со мной, забыв про всё на свете.
Вокруг меня приплясывали дети,
как около машины поливной.

Я, с хитростью в душе, вошла в кафе.
Я спряталась за стол, укрытый нишей.
Дождь за окном пристроился, как нищий,
и сквозь стекло желал придти ко мне.
Я вышла. И была моя щека
наказана пощечиною влаги,
но тут же Дождь, в печали и отваге,
омыл мне губы запахом щенка.

Я думаю, что вид мой стал смешон.
Сырым платком я шею обвязала.
Дождь на моем плече, как обезьяна
сидел,

и город этим был смущен.
Обрадованный слабостью моей,
он детским пальцем щекотал мне ухо.
Сгущалась засуха. Всё было сухо.
И только я промокла до костей.

II

Но я была в тот дом приглашена,
где строго ждали моего привета,
где над янтарным озером паркета
всходила люстры чистая луна.

Я думала: что делать мне с Дождем?
Ведь он со мной расстаться не захочет.
Он наследит там. Он ковры замочит.
Да с ним меня вообще не пустят в дом.

Я строго объяснила:
— Доброта
во мне сильна, но всё ж не безгранична.
Тебе ходить со мною неприлично.
Дождь на меня смотрел, как сирота.

— Ну, черт с тобой, — решила я, — иди!
С какой любовью на меня ты пролит?
Ах, этот странный климат, будь он проклят! —
Прощенный Дождь запрыгал впереди.

III

Хозяин дома оказал мне честь,
которой я не стоила.
Однако,
промокшая всей шкурой как ондатра,
я у дверей звонила ровно в шесть.

Дождь, притаившись за моей спиной,
дышал в затылок жалко и щекотно.
Шаги, глазок — молчание — щеколда.
Я извинилась.
— Этот Дождь со мной.
Позвольте он побудет на крыльце?
Он слишком влажный, слишком удлинённый
для комнат.
— Вот как? — молвил удивлённый
хозяин, изменившийся в лице.

IV

Признаться, я любила этот дом.
В нем свой балет всегда вершила легкость.
О, здесь углы не ушибают локоть,
здесь палец не порежется ножом.

Любила всё: как медленно хрустят
шелка хозяйки, затененной шарфом,
и, более всего, плененный шкафом —
мою царевну спящую — хрусталь.

Тот в семь румянцев розовевший спектр,
в гробу стеклянном, мертвый и прелестный.
Но я очнулась. Ритуал приветствий
как опера станцован был и спет.

V

Хозяйка дома, честно говоря,
меня бы не любила непременно,
но робость поступить не современно
чуть-чуть мешала ей, что было зря.

— Как поживаете? (О, блеск грозы,
смирённый в тонком горлышке гордячки!)
— Благодарю, — сказала я, — в горячке
я провалялась, как свинья в грязи.

(Со мной творилось что-то в этот раз.
Ведь я хотела, поклонившись слабо,
сказать:

— Живу хоть суетно, но славно,
тем более, что снова вижу вас.)

Она произнесла:

— Я вас браню.

Помилуйте, такая одаренность!

Сквозь дождь! И расстоянья отдаленность!

Вскричали все:

— К огню ее, к огню!

— Когда нибудь, во времени другом,
на площади, сквозь музыки и брани,
мы б свидетеля могли при барабане,
вскричали б вы:

— В огонь ее, в огонь!

За всё! За Дождь! За после! За тогда!

За чернокнижье двух зрачков чернейших,
за звуки с уст, за косточки черешен,
летающие без всякого труда!

Привет тебе! Нацель в меня прыжок,
Огонь, мой брат, мой пес многоязыкий!
Лижи мне руки в нежности великой!
Ты тоже Дождь! Как влажен твой ожог!

— Ваш несколько причудлив монолог, —
проговорил хозяин уязвленный. —
Но, впрочем, слава поросли зеленой!
Есть прелесть в поколенья молодом.

— Не слушайте меня! Ведь я в бреду! —
просила я. — Всё это Дождь наделал.
Он целый день меня казнил, как демон.
Да, это Дождь меня вовлек в беду.

И вдруг я увидала — там, в окне,
мой верный Дождь один синел и плакал.
В моих глазах двумя слезами плавал
лишь след его, оставшийся во мне.

VI

Одна из гостей, протянув бокал,
туманная, как голубь над карнизом,
спросила с неприязнью и капризом:
— Скажите, правда, что ваш муж богат?

— Богат ли он? Не знаю. Не вполне.
Но он богат. Ему легка работа.
Хотите знать один секрет? Есть что-то
неизлечимо нищее во мне.

Его я научила колдовству —
во мне была такая откровенность! —
он разом обратит любую ценность
в круг на воде, в зверька или в траву.

Я докажу вам! Дайте мне кольцо!
Спасем звезду из тесноты колечка! —
Она мне не дала кольца, конечно,
в недоуменье отстранив лицо.

— И, знаете, еще одна деталь —
меня влечет подохнуть под забором.
(Язык мой так и воспалился вздором.
О, это Дождь твердил мне свой диктант.)

VII

Всё, Дождь, тебе припомнится потом!
Другая гостья, голосом глубоким,
осведомилась:
— Одаренных Богом
кто одаряет? и каким путем?

Как погремушкой, мной гремел озноб:
— Приходит Бог, преласков и превесел,
немного старомоден, как профессор,
и милостью ваш осеняет лоб.

А далее — летите вверх и вниз,
в кровь разбивая локти и коленки
о снег, о воздух, об углы Кваренги,
о простыни гостиниц и больниц.

Василия Блаженного, в зубцах,
тот острый купол помните? Представьте —
всей кожей об него!
— Да вы присядьте! —
она меня одернула в сердцах.

VIII

Тем временем, для радости гостей,
творилось что-то новое, родное:
в гостиную впускали кружевное
серебряное облако детей.

Хозяюшка, прости меня, я зла!
Я всё лгала, я поступала дурно!
В тебе, как на устах у стеклодува,
явился выдох чистого стекла.

Душой твоей насыщенный сосуд,
дитя твое, отлитое так нежно!
Как точен контур, обводящий нечто!
О том не знала я, не обессудь.

Хозяюшка, звериный гений твой
в отчаянье вседенном и всеночном
над детищем твоим, о, над сыночком
великий поникает головой.

Дождь мои губы звал к ее руке.
Я плакала:
— Прости меня! Прости же!
Глаза твои премудры и пречисты!

IX

Тут хор детей возник невдалеке:
— Ах, так сложилось время —
смешинка нам важна!
У одного еврея —
хе-хе! — была жена.

Его жена корпела
над тягостным трудом,
чтоб выросла копейка
величиною с дом.

О, капелька металла,
созревшая, как плод!
Ты солнышком вставала,
украсив небосвод.

Все это только шутка,
наш номер, наш привет.
Нас весело и жутко
растит двадцатый век.

Мы маленькие дети,
но мы растем во сне,
как маленькие деньги,
окрепшие в казне.

В лопатках — холод милый
и остря двух крыл.
Нам кожу алюминий,
как изморозь, покрыл.

Чтоб было жить не скушно,
нас трогает порой
искусствочко, искусство,
ребеночек чужой.

Родителей оплошность
искупим мы. Ура!
О, пошлость, ты не подлость,
ты лишь уют ума.

От боли и от гнева
ты нас спасешь потом.
Целуем, королева,
твой бархатный подол.

Х

Лень, как болезнь, во мне смыкала круг.
Мое плечо вело чужую руку.
Я, как птенца, в ладони грела рюмку.
Попискивал ее открытый клюв.

Хозяюшка, вы ощущали грусть
над мальчиком, заснувшим спозаранку,
в уста его, в ту алчущую ранку,
отравленную проливая грудь?

Вдруг в нем, как в перламутровом яйце,
спала пружина музыки согбенной?
Как радуга — в бутоне краски белой?
Как тайный мускул красоты — в лице?
Как в Сашеньке — непробужденный Блок?

Медведица, вы для какой забавы
в детеньше, влюбленными зубами,
выщелкивали Бога, словно блох?

XI

Хозяйка налила мне коньяка:
— Вас лихорадит. Грейтесь у камина. —
Прощай, мой Дождь!
Как весело, как мило
принять мороз на кончик языка!

Как крепко пахнет розой от вина!
Вино, лишь ты ни в чем не виновато.
Во мне расщеплен атом винограда.
Во мне горит двух разных роз война.

Вино мое, я твой заблудший князь,
привязанный к двум деревьям склоненным.
Разъединяй! Не бойся же! Со звоном
меня со мной пусть разлучает казнь!

Я делаюсь всё больше, всё добрей!
Смотрите — я уже добра, как клоун,
вам в ноги опрокинутый поклоном!
Уж мне тесно́ средь окон и дверей!

О, Господи, какая доброта!
Скорей! Жалеть до слез! Пасть на колени!
Я вас люблю! Застенчивость калеки
бледнит мне щеки и кривит уста.

Что сделать мне для вас хотя бы раз?
Обидьте! Не жалейте, обижая!
Вот кожа моя — голая, большая,
как холст для красок! Чист простор для ран!

Я вас люблю без меры и стыда!
Как небеса круглы мои объятья.
Мы из одной купели. Все мы братья.
Мой мальчик, Дождь! Скорей иди сюда!

ХII

Прошел по спинам быстрый холодок.
В тиши раздался страшный крик хозяйки.
И ржавые, оранжевые знаки
вдруг выплыли на белый потолок.

И хлынул Дождь! Его ловили в таз.
В него вбивались веники и щетки.
Он вырывался. Он летел на щеки.
Прозрачной слепотой вставал у глаз.

Отплясывал нечаянный канкан.
Звенел, играя в хрустале воскресном.
Дом над Дождем уж замыкал свой скрежет,
как мышцы обрывающий капкан.

Он, с выраженьем ласки и тоски,
паркет марая, полз ко мне на брюхе.
В него мужчины, поднимая брюки,
примерившись, вбивали каблуки.

Его скрутили тряпкой половой
и выжимали, брезгуя, в уборной.
Гортанью, вдруг охрипшей и убогой,
кричала я:

— Не трогайте! Он мой!
Он был живой, как зверь или дитя.
О, вашим детям жить в беде и муке!
Слепые, тайн не знающие руки
зачем вы окунули в кровь Дождя?

Хозяин дома прошептал:
— Учти,
еще ответишь ты за эту встречу!
Я засмеялась:
— Знаю, что отвечу.
Вы безобразны. Дайте мне пройти.

Пугал прохожих вид моей беды.
Я говорила:
— Ничего. Оставьте.
Пройдет и это.
На сухом асфальте
я целовала пятнышко воды.

Земли перекалялась нагота,
и горизонт вокруг города был розов.
Повергнутое в страх Бюро прогнозов
осадков не сулило никогда.

Тбилиси — Москва

ПРОЩАНИЕ

А напоследок я скажу —
прощай, любить не обязуйся.
С ума схожу. Иль восхожу
к высокой степени безумства.

Как ты любил? — ты пригубил
погибели. Не в этом дело.
Как ты любил? — ты погубил,
но погубил так неумело.

Жестокость промаха, о нет
тебе прощенья. Живо тело,
и бродит, видит белый свет,
но тело мое опустело.

Работу малую висок
еще вершит. Но пали руки,
и стайкою, наискосок,
уходят запахи и звуки.

В ОПУСТЕВШЕМ ДОМЕ ОТДЫХА

Впасть в обморок беспамятства, как плод,
уснувший тихо средь ветвей и грядок,
не сознавать свою живую плоть,
ее чужой и грубый беспорядок.

Вот яблоко, возникшее вчера.
В нем — мышцы влаги, красота пигмента,
то тех, то этих действий толчея.
Но яблоку так безразлично это.

А тут, словно с оравою детей,
не совладаешь со своим же телом,
не предусмотритишь всех его затей,
не расплетешь его переплетений.

И так надоедает под конец
в себя смотреть, как в пациента лекарь,
всё время слышать треск своих сердец
и различать щекотный бег молекул.

И отвернуться хочется уже,
вот отвернусь, но любопытно глазу.
Так музыка на верхнем этаже
мешает и заманивает сразу.

В глуши, в уединении моем,
под снегом, вырастающим на кровле,
живу одна и будто бы вдвоем —
со вздохом в легких, с удареньем крови.

То улыбнусь, то пискнет голос мой,
то бьется пульс, как бабочка в ладони.
Ну, славу Богу, думаю, живой
остался кто-то в опустевшем доме.

И вот тогда тебя благодарю,
мой организм, живой зверек природы,
верши, верши простую жизнь свою,
как солнышко, как лес, как огороды.

И впредь играй, не ведай немоты!
В глубоком одиночестве, зимою,
я всласть повеселюсь среди пустоты,
тесно и шумно населенной мною.

* * *

Кто знает — вечность или миг
мне предстоит бродить по свету.
За этот миг иль вечность эту
равно благодарю я мир.

Что б ни случилось, не клянуп,
а лишь благословляю легкость:
твоей печали мимолетность,
моей кончины тишину.

НОЧЬ

Уже рассвет темнеет с трех сторон,
а всё руке не достает отваги,
чтобы пробиться к белизне бумаги
сквозь воздух, затвердевший над столом.

Как непреклонно честный разум мой
стыдится своего несовершенства,
не допускает руку до блаженства
затеять ямб в беспечности былой!

Меж тем, когда полна значенья тьма,
ожог во лбу от выдумки неточной,
мощь кофеина и азарт полночный
легко принять за остроту ума.

Но, видно, впрямь велик и невредим
рассудок мой в безумье этих бдений,
раз возбужденье, жаркое, как гений,
он всё ж не счел достоинством своим.

Ужель грешно своей беды не знать?
Соблазн так сладок, так невинна малость —
нарушить этой ночи безымянность
и всё, что в ней, по имени назвать.

Пока руке бездействовать велю,
любой предмет глядит с кокетством женским,
красуется, следит за каждым жестом,
нацеленным ему воздать хвалу.

Уверенный, что мной уже любим,
бубнит и клянчит голосок предмета,
его душа желает быть воспета,
и непременно голосом моим.

Как я хочу благодарить свечу,
любимый свет ее предать огласке
и предоставить неусыпной ласке
эпитетов! Но я опять молчу.

Какая боль под пыткой немоты —
всё ж не признаться ни единым словом
в красе всего, на что зрачком суровым
любовь моя глядит из темноты!

Чего стыжусь? Зачем я не вольна
в пустом дому, среди снежного разлива,
писать не хорошо, но справедливо —
про дом, про снег, про синеву окна!

Не дай мне Бог бесстыдства пред листом
бумаги, беззащитной предо мною,
пред ясной и бесхитростной свечою,
перед моим плывущим в сон лицом.

СИМОНУ ЧИКОВАНИ

Лвиться утром в чистый север сада
в глубокий день зимы и снегопада,
когда душа свободна и проста,
снегов успокоителен избыток,
и пресной льдинки маленький напиток
так развлекает и смешит уста.

Все нужное тебе — в тебе самом, —
подумать, и увидеть, что Симон
идет один к заснеженной ограде.
О нет, зимой мой ум не так умен,
чтобы поверить и спросить: Симон,
как это может быть при снегопаде?

И разве ты не вовсе одинаков
с твоей землею, где, навек заплакав
от нежности, все плачет тень моя,
где над Курой, в объятой Богом Мцхете,
в садах зимы берут фиалки дети,
их называя именем «Иа»?

И, коль ты здесь, кому теперь видна
пустая площадь в три больших окна
и цирка детский круг кому заметен?
О, дома твоего беспечный храм,
прилив вина и лепета к губам
и пение, что следует за этим!

Меж тем все просто: рядом то и это,
и в наше время от зимы до лета
полгода жизни, лёта два часа.
И приникаю я лицом к Симону
все тем же летом, тою же зимою,
когда цветам и снегу нет числа.

Пускай же все само собой идет:
сам прилетел по небу самолет,
сам самовар нам чай нальет в стаканы.
Не будем звать, но сам придет сосед
для добрых восклицаний и бесед,
и голос сам заговорит стихами.

Я говорю себе: твой гость с тобою,
любуйся его милой худобою,
возьми себе, не отпускай домой.
Но уж звонит во мне звонок испуга:
опять нам долго не видать друг друга
в честь разницы меж летом и зимой.

Простились, ничего не говоря.
Я предалась заботам января,
вздыхнув во сне легко и сокровенно.
И снова я тоскую поутру.
И в сад иду, и веточку беру,
и на снегу пишу я: Сакартвело.

СЛОВО

«Претерпевая медленную юность,
впадаю я то в дерзость, то в угрюмость,
пишу стихи, мне говорят: порви!
А вы так просто говорите слово,
вас любит ямб, и жизнь к вам благосклонна», —
так написал мне мальчик из Перми.

В чужих потемках выключатель шаря,
хозяевам вслепую спать мешая,
о воздух спотыкаясь, как о пень,
стыдясь своей громоздкой неудачи,
над каждой книгой обмирая в плаче,
я вспомнила про мальчика и Пермь.

И впрямь — в Перми живет ребенок странный,
владеющий высокой и пространной,
невнятной речью. И, когда горит
огонь созвездий, принятых над Пермью,
озябшим горлом, не способным к пенью,
ребенок этот слово говорит.

Как говорит ребенок! Неужели
во мне иль в ком-то, в неживом ущельи
гортани, погруженной в темноту,
была такая чистая проема,
чтоб уместить, во всей красе объема,
всезначащего слова полноту?

О, нет, во мне — то всхлип, то хрип, и снова
насущенный шум, занявший место слова
там, в легких, где теснятся дым и тень,
и шее не хватает мощи бычьей,
чтобы дыханья суетный обычай
вершить было не трудно и не лень.

Звук немоты, железный и корявый,
терзает горло ссадиной кровавой,
заговорю — и обагрю платок.
В безмолвии, как в землю погребенной,
мне странно знать, что есть в Перми ребенок,
который слово выговорить мог.

НЕМОТА

Кто же был так силен и умен?
Кто мой голос из горла увел?
Не умеет заплакать о нем
рана черная в горле моем.

Сколь достойны хвалы и любви,
март, простые деянья твои,
но мертвы моих слов соловьи
и теперь их сады — словари.

— О, воспой! — умоляют уста
снегопада, обрыва, куста.
Я кричу, но, как пар изо рта,
округлилась у губ немота.

Вдохновенье — чрезмерный, сплошной
вдох мгновенья душою немой.
Не спасет ее вдох иной,
кроме слова, что сказано мной.

Задыхаюсь, и дохну, и лгу,
что еще не останусь в долгу
пред красою деревьев в снегу,
о которой сказать не могу.

Облегчить переполненный пульс —
как угодно, нечаянно, пусть,
и во всё, что воспеть тороплюсь,
воплощусь навсегда, наизусть.

А за то, что была так нема,
и любила всех слов имена,
и устала вдруг, как умерла, —
сами, сами воспойте меня.

ДРУГОЕ

Что сделалось? Зачем я не могу,
уж целый год не знаю, не умею
слагать стихи, и только немоту
тяжелую в моих губах имею?

Вы скажете: но вот уже строфа,
четыре строчки в ней, она готова.
Я не о том: во мне уже стара
привычка ставить слово после слова.

Порядок этот ведает рука,
я не о том. Как это прежде было?
Когда происходило — не строка —
другое что-то. Только что? — забыла.

Да, то, другое, разве знало страх,
когда шалило голосом так смело,
само, как смех, смеялось на устах
и плакало, как плач, если хотело?

ТОСКА ПО ЛЕРМОНТОВУ

О Грузия, лишь по твоей вине,
Когда зима грозна и белоснежна,
Печаль моя печальна не вполне,
Не до конца надежда безнадежна.

Одну тебя я счастливо люблю,
И лишь твое лицо не лицемерно.
Рука твоя на голову мою
Ложится благосклонно и целебно.

Мне не застать врасплох твоей любви.
Открытыми объятия ты держишь.
Все разговоры, все шепоты твои
Мне на ухо нашептешь и утетишь.

Но в этот день не так я молода,
Чтоб выбирать меж севером и югом.
Свершилась поздней осени беда,
Былой уют украсив неуютом...

Лишь черный зонт в руках моих гремит,
Живой, упругий мускул в нем напрягся.
То, что тебя покинуть норовит,
Пускай покинет — что держать напрасно!

Я отпускаю зонт и не смотрю,
Как будет он использовать свободу.
Я медленно иду по октябрю,
Сквозь воду и холодную погоду.

В чужом доме, не знаю, почему,
Я бег моих колен остановила.
Вы пробовали жить в чужом доме?
Там хорошо. И вот как это было.

Был подвиг одиночества свершен,
И я могла уйти. Но так случилось,
Что в этом доме, в ванной, жил сверчок,
Поскрипывал, оказывал мне милость.

Моя душа тогда была слаба,
И потому — с доверьем и тоскою —
Тот слабый скрип, той песенки слова
Я полюбила слабою душою.

Привыкла вскоре добрая семья,
Что так, друг друга не опровергая,
Два пустяка природы: он и я —
Живут тихонько, песенки слагая.

Итак, я здесь. Мы по ночам не спим,
Я запою — он отвечать умеет.
Ну, хорошо. А где же снам моим,
Где им-то жить? Где их бездомность реет?

Они всё там же, там, где я была,
Где высочайший юноша вселенной,
Меж туч и солнца, меж добра и зла
Стоял вверху горы уединенной.

О, там под покровительством горы,
Как в медленном недоуменьи танца,
Течения Арагви и Куры
Ни встретиться не могут, ни расстаться.

Внизу так чист, так мрачен Мцхетский храм,
Души его воинственна молитва.
В ней гром мечей, и лошадиный храп,
И вечная за эти земли битва.

Где он стоял? Вот здесь, где монастырь
Еще живет всей свежестью размаха,
Где малый камень с легкостью вместил
Великую тоску того монаха.

Что, мальчик мой, великий человек,
Что сделал ты, чтобы воскреснуть болью
В моем мозгу и чернотой меж век,
Все плачущей над, маленьким, тобою?

И в этой Богом замкнутой судьбе,
В твоей высокой муке превосходства,
Хотя б сверчок любимому тебе,
Сверчок играл средь твоего сиротства!

Стой на горе! Не уходи туда,
Где — только-то! — через четыре года
Сомкнется над тобою навсегда
Пустая, совершенная свобода!

Стой на горе! Я по твоим следам
Найду тебя под солнцем возле Мцхета,
Возьму себе всем зреньем, не отдам,
И ты спасен уже, и вечно это.

Стой на горе! Но чем к тебе добрей
Чужой земли таинственная новость,
Тем яростней соблазн земли твоей,
Милей ее сладчайшая суровость.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ В АНТИКВАРНОМ МАГАЗИНЕ

Зачем? Да так, как входят в глушь осин,
для тишины и праздности гулянья, —
не ведая корысти и желанья,
вошла я в антикварный магазин.

Недобро глянул старый антиквар.
Когда б он не устал за два столетья
лелеять нежной ветхости соцветья, —
он вовсе б мне дверей не открывал.

Он опасался грубого вреда
для слабых чаш и хрусталя больного.
Живая подлость возраста иного
была ему враждебна и чужда.

Избрав меня меж прочими людьми,
он кротко приготовился к подвоху,
и ненависть, мешающая вздоху,
возникла в нем с мгновенностью любви.

Меж тем искала выгоды толпа,
и чужеземец мудростью холодной
вникал в значенье люстры старомодной
и в руки брал бессвязный хор стекла.

Недосчитавшись голоса одной
в былых балах утраченной подвески,
на грех ее обидевшись по-детски,
он заскучал и захотел домой.

Печальную пылинку серебра
влекла старуха из глубин юдоли,
и тяжела была ее ладони
вся невесомость быта и добра.

Какая грусть — средь сумрачных теплиц
разглядывать осеннее предсмертье
чужих вещей, воспитанных при свете
огней угасших и минувших лиц.

И вот тогда, в открывшейся тиши,
раздался оклик запаха и цвета:
ко мне взывал и ожидал ответа
невнятный жест неведомой души.

Знакомой боли маленький горнист
трубил, словно в канун стихосложенья, —
так требует предмет изображенья,
и ты бежишь, как верный пес на свист.

Я знаю эти голоса ничьи.
О плач всего, что хочет быть воспето!
Навзрыд звучит немая просьба эта,
как крик: «Спасите!» — грянувший в ночи.

Отчаявшись, до крайности дойдя,
немое горло просьбу излучало.
Я ринулась на зов и для начала
сказала я: — Не плачь, мое дитя.

— Что вам угодно? — молвил антиквар. —
Здесь всё мертво и неспособно к плачу.
Он, всё еще надеясь на удачу,
плечом меня теснил и оттирал.

Сведенные враждой, плечом к плечу
стояли мы. Я отвечала сухо:
— Мне, ставшею открытой раной слуха,
угодно слышать всё, что я хочу.

— Ступайте прочь! — он гневно повторял.
И вдруг, среди слабоумия сомнений,
в уме моем сверкнул случайный гений
и выпалил: — Подайте тот футляр!

— Тот ларь? — Футляр.
— Фонарь? — Футляр. — Фуляр?
— Помилуйте, футляр из черной кожи.
Он бледен стал и закричал: — О Боже!
Всё, что хотите, но не тот футляр.

Я вас прошу, я заклинаю вас!
Вы молоды, вы пахнете бензином!
Ступайте к современным магазинам,
где так велик ассортимент пластмасс.

— Как это мило с вашей стороны, —
сказала я, — я не люблю пластмассы.
Он мне польстил: — Вы правы и прекрасны.
Вы любите непрочность старины.

Я сам служу ее календарю.
Вот медальон, и в нем портрет ребенка.
Минувший век. Изящная работа.
И всё это я вам теперь дарю.

...Печальный ангел с личиком больным.
Надземный взор. Прилежный лоб и локон.
Гроза в июне. Воспаленье в легком.
И тьма небес, закрывшихся за ним...

— Мне горестей своих не занимать,
а вы хотите мне вручить причину
оплакивать всю жизнь его кончину
и в горе обезумевшую мать?

— Тогда сервиз на двадцать шесть персон! —
воскликнул он, надеждой озаренный. —
В нем сто предметов ценности огромной.
Берите даром — и вопрос решен.

— Какая щедрость и какой сюрприз!
Но двадцать пять моих гостей возможных
всегда в гостях, в бегах неосторожных.
Со мной одной — соскучится сервиз.

Как сто предметов я могу развлечь?
Помилуй Бог, мне не по силам это.
Нет, я ценю единственность предмета.
Вы знаете, о чем веду я речь.

— Как я устал! — промолвил антиквар. —
Мне двести лет. Моя душа истлела.
Берите всё! Мне всё осточертело!
Пусть всё мое теперь уходит к вам.

И он открыл футляр. И на крыльцо
из мглы сеней, на волю из темницы
явился свет и опалил ресницы,
и это было женское лицо.

Не по чертам его — по черноте,
ожегшей ум, по духоте пространства
я вычислила, сколь оно прекрасно,
еще до зренья, в первой слепоте.

Губ полусмехом, полумраком глаз
лицо ее внушало мысль простую:
утратить разум, кануть в тьму пустую,
просить руки, проситься на Кавказ.

Там — соблазнять ленивого стрелка
сверкающей открытостью затылка,
раз навсегда — и всё. Стрельба затихла,
и в небе то ли Бог, то ль облака.

— Я молод был сто тридцать лет назад, —
проговорился антиквар печальный. —
Сквозь зелень лип, по желтизне песчаной
я каждый день ходил в тот дом и сад.

О, я любил ее не первый год,
целуя воздух и каменья сада,
когда проездом — в ад или из ада —
вдруг объявился тот незванный гость.

Вы Ганнибала помните? Мастак
он был в делах, достиг чинов немалых.
Но я — о том, что правнук Ганнибалов
случайно оказался в тех местах.

Туземным мраком горячо дыша,
он прыгнул в дверь. Всё вмиг переместилось.
Прислуга, как в грозу, перекрестилась.
И обмерла тогда моя душа.

Чужой сквозняк ударил по стеклу.
Шкаф отвечал разбитою посудой.
Повеяло паленым и простудой.
Свеча погасла. Гость присел к столу.

Когда же вновь затеяли огонь,
склонившись к ней, переменившись разом,
он, всем опасным африканским рабством,
потутился, как укрощенный конь.

Я ей шепнул: — Позвольте, он урод.
Хоть ростом скромн, и на том спасибо.
— Вы думаете? — так она спросила. —
Мне кажется, совсем наоборот.

Три дня гостил, весь — кротость, доброта,
любой совет считал себе приказом.
А уезжая, вольно пыхнул глазом
и засмеялся красным пеклом рта.

С тех пор явился горестный намек
в лице ее, в его простом порядке.
Над непосильным подвигом разгадки
трудился лоб, а разгадать не мог.

Когда из сна, из глубины тепла
всплывала в ней незрячая улыбка,
она пугалась, будто бы ошибка
лицом ее допущена была.

Но нет, я не уехал на Кавказ.
Я сватался. Она мне отказала.
Не изменив намерений нисколько,
я сватался второй и третий раз.

В столетье том, в тридцать седьмом году,
по-моему, зимою, да, зимою,
она скончалась, не послав за мною,
без видимой причины и в бреду.

Бессмертным став от горя и любви,
я ведаю ничтожным этим храмом,
толкую с хамом и торгую хламом,
затерянный меж Богом и людьми.

Но я утешен мнением молвы,
что всё-таки убит он на дуэли.
— Он не убит, а вы мне надоели, —
сказала я, — хоть невиновны вы.

Простите мне желание руки
владеть и взять. Поделим то и это.
Мне — суть предмета, вам — краса портрета:
в награду, в месть, в угоду, вопреки...

Старик спросил: — Я вас не зверг в печаль
признаньем в этих бедах небывалых?
— Нет, вспомнился мне правнук Ганнибалов, —
сказала я, — мне лишь его и жаль.

А* если вдруг вкусивший всех наук
читатель мой заметит справедливо:
— Всё это ложь, изложенная длинно. —
Отвечу я: — Конечно, ложь, мой друг.

Весьма бы усложнился трезвый быт,
когда б так поступали антиквары,
и жили вещи, как живые твари,
а тот, другой, был бы и впрямь убит.

Но нет, портрет живет в моем дому!
И звон стекла. И лепет тувель бальных.
И мрак свечей. И — правнук Ганнибалов
к сему причастен — судя по всему.

СУМЕРКИ

Есть в сумерках блаженная свобода
от явных чисел века, года, дня.
Когда? Неважно. Вот открытость входа
в глубокий парк, в далекий мельк огня.

Ни в сырости, насытившей соцветья,
ни в деревьях, исполненных любви,
нет доказательств этого столетья, —
бери себе другое — и живи.

Ошибкой зренья, заблуждением духа
возвращена в аллеи старины,
бреду по ним. И встречная старуха,
словно признав, глядит со стороны.

Средь бела дня пустынно это место.
Но в сумерках мои глаза вольны
увидеть дом, где счастливо семейство,
где невпопад и пылко влюблены,

где вечно ждут гостей на именины —
шуметь, краснеть и руки целовать,
где и меня к себе рукой манили,
где никогда мне гостем не бывать.

Но коль дано их голосам беспечным
стать тишиною неба и воды, —
чьи пальчики по клавишам лепечут?
Чьи кружева вступают в круг беды?

Как мне досталась милость их привета,
тот медленный, затеянный людьми
старинный вальс, старинная примета
чужой печали и чужой любви!

Еще возможно для ума и слуха
вести игру, где действует река,
пустое поле, дерево, старуха,
деревня в три незрячих огонька.

Души моей невнятная улыбка
блуждает там, в беспамятстве, вдали,
в той родине, чья странная ошибка
даст мне чужбину речи и земли.

Но темнотой испуганный рассудок
трезвеет, рыщет, снова хочет знать
живых вещей отчетливый рисунок,
мой век, мой час, мой стол, мою кровать.

Еще плутая в омуте росистом,
я слышу, как на диком языке
мне шлет свое проклятие транзистор,
зажатый в непреклонном кулаке.

* * *

Сны о Грузии — вот радость!
И под утро так чиста
виноградовая сладость,
осенившая уста.
Ни о чем я не жалею,
ничего я не хочу —
в золотом Свети-Цховели
ставлю бедную свечу.
Малым камушкам во Мцхета
воздаю хвалу и честь.

Господи, пусть будет это
вечно так, как ныне есть.
Пусть всегда мне будет в новость
и колдуют надо мной
милой родины суровость,
нежность родины чужой.

СПАТЬ

Мне — пляшущей под мцхетскою луной,
мне — плачущей любою мышцей в теле,
мне — ставшей тенью, слабою длиной,
не умещенной в храм Свети-Цховели,
мне — обнаженной ниткой серебра,
продернутой в твою иглу, Тбилиси,
мне — жившей, как преступник, — до утра,
озябшей до крови в твоей теплице,
мне — не умевшей засыпать в ночах,
безумьем растлевающей знакомых,
имеющей зрачок коня в очах,
отпрянувшей от снов, как от загонов,
мне — с нищими поющей на мосту:
«Прости нам, утро, прегрешенья наши.
Обугленных желудков нищету
позолоти своим подарком, хаши»,
мне — скачущей наискосок и вспять
в бессоннице, в ее дурной потехе, —
о Господи, как мне хотелось спать
в глубокой, словно колыбель, постели.
Спать — засыпая. Просыпаясь — спать.
Спать — медленно, как пригублять напиток.
О, спать и сон посасывать, как сладь,
пролив слюною сладости избыток.

Проснуться поздно, глаз не открывать,
чтоб дольше искушать себя секретом
погоды, осеняющей кровать
пока еще не принятым приветом.
Как приторен в гортани привкус сна.
Движенье рук свежо и неумело.
Неопытность воскресшего Христа
глубокой ленью сковывает тело.
Мозг слеп, словно остывшая звезда.
Пульс тих, как сок в непробужденном древе.
И — снова спать! Спать долго. Спать всегда,
спать замкнуто, как в материнском чреве.

ПЛОХАЯ ВЕСНА

Пока клялись беспечные снега
блистать и стыть с прилежностью металла,
пока пуховой шали не сняла
та девочка, которая мечтала
склонить к плечу оранжевый берет,
пустить на волю локти и колени,
чтоб не ходить, но совершать балет
хожденья по оттаявшей аллее,
пока апрель не затевал возни,
удобной насекомым и растеньям, —
взяв на себя несчастный труд весны,
безумцем становился неврастеник.

Среди гардин зимы, среди гордынь
сугробов, ледоколов, конькобежцев
он гнев весны претерпевал один,
став жертвою ее причуд и бешенств.

Он так поспешно окна открывал,
как будто смерть предпочитал неволе,
как будто бинт от кожи отрывал,
не устояв перед соблазном боли.

Что было с ним, сорвавшим жалюзи?
То ль сильный дух велел искать исхода,
то ль слабость щитовидной железы
выпрашивала горьких лакомств йода?

Он сам не знал, чьи силы, чьи труды
владеют им. Но говорят преданья,
что, ринувшись на поиски беды,
как выгоды, он возжелал страданья.

Он закричал: — Грешна моя судьба!
Не гений я! И, стало быть, впустую,
гордясь огромной выпуклостью лба,
лелеял я лишь опухоль слепую!

Он стал бояться перьев и чернил.
Он говорил в отчаянной отваге:
— О Господи! Твой худший ученик —
я никогда не оскверню бумаги.

Он сделался неистов и угрюм.
Он всё отринул, что грозит блаженством.
Желал он мукой обострить свой ум,
побрезговав его несовершенством.

В груди птенцы пиццали: не хотим!
Гнушаясь их красою бесполезной,
вбивал он алкоголь и никотин
в их слабый зев, словно сапог железный.

И проклял он родимый дом и сад,
сказав: — Как страшно просыпаться утром!
Как жжется этот раскаленный ад,
который именуется уютом!

Он жил в чужом доме, в чужом саду
и тем платил хозяйке любопытной,
что, голый и огромный, на виду
у всех вершил свой пир кровопролитный.

Ему давали пищи и питья,
шептались меж собой, но не корили
затем, что жутким будням их бытъя
он приходился праздником корриды.

Он то в пустой пельменной горевал,
то пил коньяк в гостиных полусвета
и понимал, что это гонорар
за представленье странности поэта.

Ему за то и подают обед,
который он с охотою съедает,
что гостъя, умница, искусствовед
имеет право молвить: — Он страдает!

И он страдал. Об острие угла
разбил он лоб, казня его ничтожность,
но не обрел достоинства ума
и не изведаль истин непреложность.

Проснувшись ночью в серых простынях,
он клял дурного мозга неприличье,
и высоко над ним плыл Пастернак
в опрятности и простоте величья.

Он снял портрет и тем отверг упрек
в проступке суеты и нетерпенья.
Виновен ли немой, что он не мог
использовать гортань для песнопенья?

Его встречали в чайных и пивных,
на площадях и на скамьях вокзала.
И наконец он головой поник
и так сказал (вернее, я сказала):

— Друзья мои, мне минет тридцать лет,
увы, итог тридцатилетья скуден.
Мой подвиг одиночества нелеп,
и суд мой над собою безрассуден.

Бог точно знал, кому какая честь,
мне лишь одна, немного и немало:
всегда пребуду только тем, что есть,
пока не стану тем, чего не стало.

Так в чем же смысл и польза этих мук,
привнесших в кожу белый шрам ожога?
Уверен в том, что мимолетный звук
мне явится, и я скажу: так много?

Затем свечу зажгу, перо возьму,
судьбе моей воздам благодаренье,
припомню эту бедную весну
и напишу о ней стихотворенье.

* * *

Случилось так, что двадцати семи
лет от роду мне выпала отрада
жить в замкнутости дома и семьи,
расширенной прекрасным кругом сада.

Себя я предоставила добру,
с которым справедливая природа
следит за увяданием в бору
или решает участь огорода.

Мне нравилось забыть печаль и гнев,
не ведать мысли, не промолвить слова
и в детском неразумии дерев
терпеть заботу гения чужого.

Я стала вдруг здорова, как трава,
чиста душой, как прочие растения,
не более умна, чем дерева,
не более жива, чем до рождения.

Я улыбалась ночью в потолок,
в пустой пробел, где близко и приметно
белел во мраке очевидный Бог,
имевший цель улыбки и привета.

Была так неизбежна благодать
и так близка большая ласка Бога,
что прядь со лба — чтоб легче целовать —
я убирала и спала глубоко.

Как будто бы надолго, на века,
я углублялась в землю и деревья.
Никто не знал, как мука велика
за дверью моего уединенья.

* * *

Я думаю: как я была глупа,
когда стыдилась собственного лба,
зачем он так от гения свободен?
Сегодня, став взрослее и трезвей,
хочу обедать посреди друзей.
Лишь их привет мне сладок и угоден.

Мне снится сон: я мучаюсь и мчусь,
лицейскою возвышенностью чувств
пылает мозг в честь праздника простого.
Друзья мои, что так добры ко мне,
должны собраться в маленьком кафе
на площади Восстанья в полшестого.
Я прихожу и вижу: собрались.
Благословляя красоту их лиц,
плач нежности стоит в моей гортани.
Как встарь, моя кружится голова.
Как встарь, звучат прекрасные слова
и пенье очарованной гитары.
Я просыпаюсь и спешу в кафе,
я оставляю шапку в рукаве,
не ведая сомнения пустого.
Я твердо помню мой недавний сон
и стол прошу накрыть на пять персон
на площади Восстанья в полшестого.
Я долго жду и вижу жизнь людей,
которую прибоем площадей
выносит вдруг на мой пустынный остров.
Так мне пришлось присвоить новосты встреч,
чужие тайны и чужую речь,
борьбу локтей неведомых и острых.
Вошел убийца в сером пиджаке.
Убитый им сидел невдалеке.
Я наблюдала странность их общенья.
Промолвил первый: — Вот моя рука,
но всё ж не пейте столько коньяка.
И встал второй и попросил прощенья.
Я у того, кто встал, спросила:

— Вы

однажды не сносили головы,
неужто с вами что-нибудь случится?
Он мне сказал:

— Я узник прежних уз.

Дитя мое, я, как тогда, боюсь, —
не я ему, он мне ночами снится.
Я поняла: я быть одна боюсь.
Друзья мои, прекрасен наш союз!
О, смилуйтесь, хоть вы не обещали.
Совсем одна, словно Мальмгрен во льду,
заключена, словно мигрень во лбу.
Друзья мои, я требую пощады!
И все ж, пока слагать стихи смогу,
я вот, как вам, солгу иль не солгу:
они пришли, не ожидая зова,
сказали мне: — Спешат твои часы.
И были наши помыслы чисты
на площади Восстанья в полшестого.

* * *

Как долго я не высыпалась,
писала медленно, да зря.
Прощай моя высокопарность!
Привет, любезные друзья!

Да здравствует любовь и легкость!
А то всю ночь в дыму сижу,
и тяжело тащится мой локоть,
строку влача словно баржу.

А утром, свет опережая,
всплывает в глубине окна
лицо мое, словно чужая
предсмертно белая луна.

Не мил мне чистый снег на крышах,
мне тяжело мое чело,
и все за тем, чтоб добрый критик
не понял в этом ничего.

Ну нет, теперь беру тетрадку
и, выбравши любой предлог,
описываю по порядку
все, что мне в голову придет.

Я пред бумагой не робею
и опишу одну из сред,
когда меня позвал к обеду
сосед-литературовед.

Он был настолько выше быта
и так воспитан и умен,
что обошла его обида
былых и нынешних времен.

Он обещал мне, что наука,
известная его уму,
откроет мне, какая мука
угодна сердцу моему.

С улыбкой грусти и привета
открыла дверь в тепло и свет
жена литературоведа,
сама литературовед.

Пока с меня пальто снимала
их просвещенная семья,
ждала я знака и сигнала,
чтобы понять, причем здесь я.

Но размышляя мимолетно,
я поняла мою вину:
что ж за обед без рифмоплета
и мебели под старину.

Всё так и было: стол накрытый
дышал свечами, цвел паркет,
и чужеземец именитый
молчал, покуривая кент.

Литературой мы дышали,
пока хозяин вел нас в зал
и говорил о Манделъштаме,
Цветаеву он также знал.

Он оценил их одаренность,
и, некрасива, но умна,
познанья тяжкую огромность
делила с ним его жена.

Я думала: Господь вседобрый!
Прости мне разум, полный тьмы,
вели, чтобы соблазн съедобный
отвлек от мысли их умы.

Скажи им, что пора обедать,
вели им хоть на час забыть
о том, чем им так сладко ведать,
о том, чем мне так страшно быть.

Придвинув спину к их камину,
пока не пробил час поэм,
за Манделъштама и Марину
я отогреюсь и поем.

И, озирая мир крошечный,
используй, Боже, власть Твою,
чтоб нас простил их прах безгрешный
за то, что нам не быть в раю.

В прощенье мне теплом собрата
повеяло, и со двора
вошла прекрасная собака,
с душой, исполненной добра.

Затем мы занялись обедом.
Я и хозяин пили ром,
нет, я пила, он этим ведал,
и всё же разразился гром.

Он знал: коль ложь не бестолкова,
она не осквернит уста,
я знала: за лукавство слова
наказывает немота.

Он, сокрушаясь бесполезно,
стал разум мой учить уму,
и я ответила любезно:
«Потом, мой друг, когда умру,

вы мне успеете ответить.
Но как же мне с собою быть?
Ведь перед тем, как мною ведать,
вам следует меня убить».

Мы помирились в воскресенье.
— У нас обед. А что у вас?
— А у меня стихотворенье.
Оно написано как раз.

* * *

Так дурно жить, как я вчера жила, —
в пустом пиру, где все мертвы друг к другу
и пошлости нетрезвая жара
свистит в мозгу по замкнутому кругу.

Чудовищем ручным в чужих домах
нести две влажных черноты в глазницах
и пребывать не сведеньем в умах,
а вожделенной притчей во языцех.

Довольствоваться роскошью беды —
в азартном и злорадном нераденье
следить за увяданием звезды,
втемяшенной в мой разум при рожденье.

Вслед чуждой воле, как в петле лассо,
понурить тело среди пекл безводных,
от скудных скверов отвращать лицо,
не смея быть при детях и животных.

Пережимать иссякшую педаль:
без тех без лучших мыкалась по свету,
а без себя? — не велика печаль!
Уж не копить ли драгоценность эту?

Дразнить плащом горячий гнев машин,
и снова выжить, как это ни сложно,
под доблестной защитой мужчин,
что и в невесты брать неосторожно.

Всем лицемерьем искушать беду,
но хитрой слепотою дальновидной
надеясь, что будет ночь в саду
опять слагать свой лепет деловитый.

Какая тайна влюблена в меня,
чьей выгоде мое спасенье сладко,
коль мне дано по окончании дня
стать оборотнем, алчущим порядка?

О, вот оно! Деревья и река
готовы выдать тайну вековую,
и с первобытной меткостью рука
привносит пламя в мертвость восковую.

Подобострастный бег карандаша
спешит служить и жертвовать длиною.
И так свежа суровая душа,
словно сейчас излучена луною.

Терзая зреньем небо и леса,
всему чужой, иноязычный идол,
царю во тьме огромностью лица,
которого никто другой не видел.

Пред днем былым не ведаю стыда,
пред новым днем не знаю сожаленья,
и медленно стираю прядь со лба
для пуцего удобства размышленья.

ВАРФОЛОМЕЕВСКАЯ НОЧЬ

Я думала в уютный час дождя:
а вдруг и впрямь, по логике наитья,
заведомо безнравственно дитя,
рожденное вблизи кровопролитья.

В ту ночь, когда святой Варфоломей
на пир созвал всех алчущих, как тонок
был плач того, кто между двух огней
еще не гугенот и не католик.

Еще птенец, едва поющий вздор,
еще в ходьбе не сведущий козленок,
он выжил и присвоил первый вздох,
изъятый из дыхания казненных.

Сколь, нянюшка, ни пестуй, ни корми
дитя твое цветочным млеком меда,
в его опрятной маленькой крови
живет глоток чужого кислорода.

Он лакомка, он хочет пить еще,
не знает организм непросвещенный,
что ненасытно, сладко, горячо
вкушает дух гортани пресеченной.

Повадился дышать! Не виноват
в религиях и гибелях далеких.
И принимает он кровавый чад
за будничную выгоду для легких.

Не знаю я, в тени чьего плеча
он спит в уюте детства и злодейства.
Но и палач, и жертва палача
равно растлят незрячий сон младенца.

Когда глаза откроются — смотреть,
какой судьбою в нем взойдет отравы?
Отрадой — умертвить? иль умереть?
Или корыстно почернеть от рабства?

Привыкшие к излишеству смертей,
вы, люди добрые, бранитесь и боритесь,
вы так бесстрашно нянчите детей,
что и детей, наверно, не боитесь.

И коль дитя расплачется со сна,
не беспокойтесь — малость виновата:
немного растревожена десна
молочными резцами вурдалака.

А если что-то глянет из ветвей,
морозом жути кожу задевая, —
не бойтесь! Это личики детей,
взлелеянных под сенью злодеянья.

Но, может быть, в беспамятстве, в раю,
тот плач звучит в честь выбора другого,
и хрупкость беззащитную свою
оплакивает маленькое горло

всем ужасом, чрезмерным для строки,
всей музыкой, не объясненной в нотах.
А в общем-то — какие пустяки!
Всего лишь — тридцать тысяч гугенотов.

ГОСТИТЬ У ХУДОЖНИКА

Юрию Васильеву

Итог увяданья подводит октябрь.
Природа вокруг тяжела и серьезна.
В час осени крайний — так скучно локтям
опять ушибаться об угол сиротства.
Соседской четы непомерный визит
все длится, а я, всей душой утомляясь,
ни слова не вымолвлю — в горле висит
какая-то глухонемая туманность.
В час осени крайний — огонь погасить

и вдруг, засыпая, воспрянуть догадкой,
что некогда звали тебя погостить
в дому у художника, там, за Таганкой.

И вот, аспирином задобрив недуг,
напялив калоши — скорее, скорее,
туда, где, румяные щеки надув,
художник умеет играть на свирели.
О, милое зрелище этих затей!
Средь кистей, торчащих из банок и ведер,
играет свирель, и двух милых детей
печальный топочет вокруг хороводик.
Два детские личика умудрены
улыбкой такую усталой и вечной,
как будто они в мирозданье должны
нестись и описывать круг бесконечный.
Как будто творится века напролет
все это: заоблачный лепет свирели
и маленьких тел одинокий полет
над прочностью мира, во мгле акварели.

И я, притаившись в тени голубой,
застыв перед тем невесомым весельем,
смотрю на суровый их танец, на бой
младенческих мышц с тяготеньем вселенной.
Слабею, впадаю в смятенье невежд,
когда, воссияв над трубою подзорной,
их в обморок вводит избыток небес,
терзая рассудок тоской тошнотворной.
Но полно! И я появляюсь в дверях,
недаром сюда я брела и спешила.
О счастье, что кто-то так радостно рад,
рад так беспредельно и так беспричинно!
Явлению моих одичавших локтей
художник так рад, и свирель его рада,
и щедрые ясные лица детей
даруют мне синее солнышко взгляда.

И входит, подходит та милая, та,
простая, как холст, не насыщенный грунтом,
но кроткого, смиренного лба простота
пугает предчувствием сложным

и грустным.

О скромность холста, пока срок не пришел,
невинность курка, пока пальцем

не тронешь,
звериный, до времени спящий прыжок,
нацеленный в близь, где играет звереныш.
Как мускулы в ней высоко взведены,
когда первобытным следит исподлобьем
три тени родные, во тьму глубины
запущенные виражом бесподобным.

О девочка цирка, хранящая дом!

Все ж выдаст болезненно-звездная

бледность —

во что ей обходится маленький вздох
над бездной внизу, означающей бедность.
Какие клинки покидают ножны,
какая неисповедимая доблесть
улыбкой отвечает гневу нужды,
каменья ее обращая в съедобность?
Как странно незрима она на свету,
как слабо затылок ее позолочен,
но неколебимо хранит прямоту
прозрачный, стеклянный ее позвоночник.
И радостно мне любоваться опять
лицом ее, облаком неочевидным,
и рученьку боязно в руку принять,
как тронуть скорлупку в гнезде

соловьином.

И я говорю: — О давайте скорей
кружиться в одной карусели отвесной,
подставив горячие лбы под свирель,
под ивовый дождь ее частых отверстий!
Художник на бочке высокой сидит,

как Пан, в свою хитрую дудку дудит.
Давайте, давайте кружиться всегда,
и все, что случится, — еще не беда.
Ах, Господи, Боже мой, вот вечеринка,
проносится около уха звезда,
под веко летит золотая соринка,
и кто мы такие, и что это вдруг
цветет акварели голубенький дух,
и глина краснеет, как толстый ребенок,
и пыль облетает с холстов погребенных,
и дивные рожи румяных картин
являются нам, когда мы захотим.
Проносимся! И посреди тишины
целуется красное с желтым и синим,
и все одиночества душ сплочены
в созвездье одно притяжением сильным.

Жить в доме художника день или два
и дольше, но дому еще не наскучить,
случайно узнать, что стоят деревья
под тяжестью белой, повисшей на сучьях,
с утра втихомолку собраться домой,
брести облегченно по улице снежной,
жить дома, пока не придет за тобой
любви и печали порыв центробежный.

СМЕРТЬ АХМАТОВОЙ

Четверть века, Марина, тому,
как Елабуга ластится раем
к отдохнувшему лбу твоему,
но и рай ему мал и неравен.

Неужели к всеведенью мук,
что тебе удалось как удача,
я добавлю бесформенный звук
дважды мною пропетого плача.

Две бессмыслицы — мертв и мертва,
две пустынности, два ударенья —
царскосельских садов дерева,
переделкинских рощиц деревья.

И усилием двух этих кончин
так исчерпана будущность слова.
Не осталось ни уст, ни причин,
чтобы нам затевать его снова.

Впрочем, в этой утрате суда
есть свобода и есть безмятежность:
перед кем пламенеть от стыда,
оскорбляя страниц белоснежность?

Как любила! Возможно ли злей?
Без прощанья, без обещанья
имена их любовью твоей
были сосланы в даль обожанья.

Среди всех твоих бед и плетей
только два тебе есть утешенья:
что не знала двух этих смертей
и воспела два этих рожденья.

ЗАКЛИНАНИЕ

Не плачьте обо мне — я проживу
счастливой нищей, доброй каторжанкой,
озябшею на севере южанкой,
чахоточной да злой петербуржанкой
на малярийном юге проживу.

Не плачьте обо мне — я проживу
той хромоножкой, вышедшей на паперть,
тем пьяницей, поникнувшим на скатерть,
и этим, что малюет Божью Матерь,
убогим богомазцем проживу.

Не плачьте обо мне — я проживу
той грамоте наученной девчонкой,
которая в грядущести нечеткой
мои стихи, моей рыжея челкой,
как дура будет знать. Я проживу.

Не плачьте обо мне — я проживу
сестры помилосердней милосердной,
в военной бесшабашности предсмертной,
да под звездой моей пресветлой
уж как-нибудь, а всё ж я проживу.

КЛЯНУСЬ

Тем летним снимком на крыльце чужом,
как виселица криво и отдельно
поставленным, не приводящим в дом,
но выводящим из дому. Одета
в неистовый сатиновый доспех,
стесняющий огромный мускул горла,
так и сидишь, уже отбив, допев
труд лошадиный голода и горя.
Тем снимком. Слабым острием локтей
ребенка с удивленною улыбкой,
которой смерть влечет к себе детей
и украшает их черты уликой.

Тяжелой болью памяти к тебе,
когда, хлебная безвоздушность горя,
от задыхания твоих тире
до крови я откашливала горло.
Присутствием твоим крала, несла,
брала себе тебя и воровала,
забыв, что ты — чужое, ты — нельзя,
ты — Богово, тебя у Бога мало.
Последней исхудалостию той,
добившею тебя крысиным зубом.
Благословенной родиной святой,
забывшею тебя в сиротстве грубом.
Возлюбленным тобою не к добру
вседобрым африканцем небывалым,
который созерцает детвору.
И детворою. И Тверским бульваром.
Твоим печальным отдыхом в раю,
где нет тебе ни ремесла, ни муки.
Клянусь убить Елабугу*) твою,
Елабугу твою, чтоб спали внуки.
Старухи будут их стращать в ночи,
что нет ее, что нет ее, не зная:
«Спи, мальчик или девочка, молчи,
ужо придет Елабуга слепая».
О, как она всей путаницей ног
припустится ползти, так скоро, скоро.
Я опущу подкованный сапог
на щупальцы ее без приговора.
Утяжелив собой каблук, носок,
в затылок ей — и продержат подольше.
Детеньшей ее зеленый сок
мне острым ядом опалит подошвы.

*) Елабуга — город, куда была сослана Марина Цветаева и где она покончила с собой.

В хвосте ее созревшее яйцо
я брошу в землю, раз земля бездонна,
ни словом не обмолвись про крыльцо
Марининогo смертногo бездомья.
О, в этом я клянусь. Пока во тьме,
зловоньем ила, жабами колодца,
примеривая желтый глаз ко мне,
убить меня Елабуга клянется.

ПРОЗА

НА СИБИРСКИХ ДОРОГАХ

Всем сразу нашлось куда ехать.

— Горск! Речинск! — радостно вскрикивали вокруг нас и бежали к «газикам», пофыркивающим у обкомовского подъезда.

И только мы с Шурой слонялись по городу, томились, растерянно ели беляши, и город призрачно являлся нам из темноты, по-южному белея невысокими домами, взрывая близкими паровозами.

Шура был долгий, нескладный человек, за это и звали его Шурой, а не Александром Семеновичем, как бы следовало, потому что он был не молод.

К утру наконец нашелся и для нас повод прыгнуть в «ГАЗ-69» и мчаться вперед, толкаясь плечами и проминая головой мягкий брезентовый потолок.

— Поезжайте-ка вы в Тумы, — сказал нам руководитель нашей группы практикантов-журналистов. — Где-то возле Тумы работают археологи из Москвы, ведут интересные раскопки. Это для Шуры. А вы разыщите сказителя Дорышева.

Мы сразу встали и вышли. Яркий блеск неба шлепнул нас по щекам. И мне и Шуре хотелось бы иметь другого товарища — более надежного и энергичного, чем мы оба, которому счастливая звезда доставляет с легкостью билеты куда угодно и свободные места в гостинице. Неприязненно поглядывая друг на друга, мы с Шурой все больше тосковали по такому вот удачливому попутчику.

...На маленьком аэродроме маленькие легкомысленные самолеты взлетали и опускались, а очередь, почти сплошь одетая в белые платочки, все не убавлялась. Куда летели, кого провожали эти женщины? Умудренные недавним огромным перелетом, мы с улыбкой ду-

мали о малых расстояниях, предстоящих им, а их лица были серьезны и сосредоточенны. И, может быть, им, подавленным значительностью перемен, которые собирались обрушить на их склоненные головы маленькие самолеты, суетными и бесконечно далекими казались и огромный город, из которого мы прилетели, и весь этот наш семичасовой перелет, до сих пор тяжело, как вода, мещающий ушам, и все наши невзгоды, и археологи, блуждающие где-то около Тумы.

На маленьком аэродроме Шура стал уже нестерпимо высоким, и, когда я подняла голову, чтобы поймать его рассеянное, неопределенно плывущее в вышине лицо, я увидела сразу и лицо его и самолет.

Нас троих отсчитали от очереди: меня, Шуру и мрачного человека, за которым до самого самолета семенила, оступалась и всплакивала женщина в белом платке. Нам предстояло час лететь: дальше этого часа самолет не мог ни разлучить, ни осчастливить. Но когда самолет ударил во все свои погремушки, собираясь вспорхнуть, белым-бело, белее платка, ее лицо заслонило нам дорогу — у нас даже глаза заболели, — и, ослепленный и напуганный этой белизной, встрепенулся всегда дремлющий вполглаза, как птица, Шура. Белело вокруг нас! Но это уже небо белело — на маленьком аэродроме небо начиналось сразу над вялыми кончиками травы.

Летчик сидел среди нас, как равный нам, но все же мы с интересом и заискивающе поглядывали на его необщительную спину, по которой сильно двигались мышцы, сохранявшие нас в благополучном равновесии. Этот летчик не был отделен от нашего земного невежества таинственной недоступностью кабины, но цену себе он знал.

— Уберите локоть от дверцы! — прокричал он, не оборачиваясь. — До земли хоть и близко, а падать все равно неприятно.

Я думала, что он шутит, и с готовностью улыбну-

лась его спине. Тогда, опять-таки не оборачивая головы, он крепко взял мой локоть, как нечто лишнее и вредно мешающее порядку, и переместил его по своему усмотрению.

Внизу близко зеленели неистойвой химической зеленью горы, поросшие лесом, или скучно голубела степь, по которой изредка проплывали грязноватые облака овечьих стад, а то вдруг продолговатое чистое озеро показывало себя до дна, и чудилось даже, что в нем различимы продолговатые рыбы тела.

Эта таинственная, близко-далекая земля походила на дно моря, — если плыть с аквалангом и видеть сквозь стекло и слой воды неведомые, опасно густые водоросли, пробитые белыми пузырьками, извещающими о чьей-то малой жизни, и вдруг из-за угла воды выйдет рыба и уставится в твои зрачки красным недобрым глазом.

— Красивая земля! — крикнула я дремлющему Шуре в ухо.

— Что?

— Красивая земля!

— Не слышу!

Пока я докричала до него эту фразу, она утратила свою незначительность и скромность и оглушила его высокопарностью, так что он даже отодвинулся от меня.

Около Тумы самолет взял курс на старика, вышедшего из незатейливой будки, — в одной руке чайник, в другой полосатый флаг — и прямо около чайника и флага остановился.

Нашего мрачного попутчика, которого на аэродроме провожала женщина в белом платке, встретила подвода, а мы, помаявшись с полчаса на посадочной площадке, отправились в ту же сторону пешком.

В Тумском райкоме, издавлек обнаружившем себя бледно-розовым выцветшим флагом, не было ни души, только женщина мыла пол в коридоре. Она даже не ра-

зогнулась при нашем появлении и, глядя на нас вниз головой сквозь твердо расставленные ноги, сказала:

— С Москвы, что ль? Ваша телеграмма нечитаная лежит. Все на уборке в районе, сегодня третий день.

Видно, странный ее способ смотреть на нас — на оборот и снизу вверх — и нам придавал какую-то смехотворность, потому что она долго еще, совсем ослабев, заливалась смехом в длинной темноте коридора, и лужи всхлипывали под ней.

Наконец она домысла свое, страстно выжала тряпку и пошла мимо нас, радостно ступая по-мокрому чистыми белыми ногами, и уже оттуда, с улицы, из сияющего простора своей субботы, крикнула нам:

— И ждать не ждите! Раньше понедельника никого не будет!

При нашей удачливости мы и не сомневались в этом. Вероятно, я и Шура одновременно представили себе наших товарищей по командировке, как они давно приехали на места, сразу обо всем договорились с толковыми секретарями райкомов, выработали план на завтра, провели встречи с работниками местных газет, и те, очарованные их столичной осведомленностью и уверенностью повадки, пригласили их поужинать, чем Бог послал. А завтра они поедут куда нужно, и сокровенные тайны труда и досуга легко откроются их любопытству, и довольный наш руководитель, принимая из их рук лаконичный и острый материал, скажет озабоченно: «За вас-то я не беспокоился, а вот с этими двумя просто не знаю, что делать».

С завистью подумали мы о мире, уютно населенном счастливыми.

В безнадежной темноте пустого райкома мы вдруг так смешны и жалки показались друг другу, что чуть не обнялись на сиротском подоконнике, за которым с дымом и лязгом действовала станция Тума и девушки в железнодорожной форме, призывая паровозы, трубили в рожки. Мы долго, как та женщина, смеялись:

Шура, закинув свою неровно седую, встрепанную голову, и я, уронив отяжелевшую свою.

Вдруг дверь отворилась, и два человека обозначились в ее неясной светлоте. Они приметили нас на фоне окна и, словно в ужасе, остановились. Один из них медленно и слепо пошел к выключателю, зажегся скромный свет, и пока они с тревогой разглядывали нас, мы поняли, что они, как горем, подавлены тяжелой усталостью. Из воспаленных век глядели на нас их безразличные, уже подернутые предвкушением сна зрачки.

Окрыленные нашей первой удачей — их неожиданным появлением, — страстно пытаюсь пробудить их, мы бойко заговорили:

— Мы из Москвы. Нам крайне важно увидеть сказителя Дорышева и археологов, работающих где-то в Тумском районе.

— Где-то в районе, — горько сказал тот из них, что был повыше и, видимо, постарше возрастом и должно-стью. — Район этот за неделю не объедешь.

— Товарищи, не успеваем мы с уборкой, прямо беда, — отозвался второй, виновато розовея белками, — не спим вторую неделю, третьи сутки за рулем.

Но все это они говорили ровно и вяло, уже подремывая в преддверии отдыха, болезненно ощущая чернеющий в углу облупившийся диван, воображая всем телом его призывную, спасительную округлость. Они бессознательно, блаженно и непреклонно двигались мимо нас в его сторону, и ничто не могло остановить их, во всяком случае, не мы с Шурой.

Мы не отыскивали столовой и, нацелившись на гудение и оранжевое зарево, стоящие над станцией, осторожно пошли сквозь темноту, боясь расшибить лоб об ее плотность.

В станционном буфете, вкривь и вкось освещенном гуляющими вокруг паровозами, тосковал и метался единственный посетитель.

— Нинку речинскую знаешь? — горестно и вызывающе кричал он на буфетчицу. — Вот зачем я безобразничаю! На рудники я подамся, ищи меня свищи!

— Безобразничай себе, — скучно отозвалась буфетчица, и ее ленивые руки поплыли за выпуклым стеклом витрины, как рыбы в мутном аквариуме.

Лицо беспокойного человека озарилось лаской и надеждой.

— Нинку речинскую не знаете? — спросил он, искастельно заглядывая нам в лица. И вдруг в дурном предчувствии, махнув рукой, словно отрекаясь от нас, бросился вон, скандально хлопнув дверью.

— Кто эту Нинку не знает! — безразлично вздохнула буфетчица. — Зря вы с ним разговаривать затеяли.

Было еще рано, а в доме приезжих все уже спали, только грохочущий умывальник проливал иногда мелкую струю в чьи-то ладони. Я села на сурово-чистую, отведенную мне постель, вокруг которой крепким сном спали восемь женщин и девочка. «Что ее-то занесло сюда?» — подумала я, глядя на чистый, серебристый локоток, вольно откинутый к изголовью. Среди этой маленькой, непрочной тишины, отгороженной скудными стенами от грохота и неюота наступающей ночи, она так ясно, так глубоко спала, и сладкая лужица прозрачной младенческой слюны чуть промочила подушку у приоткрытого уголка ее губ. Я пристально, нежно, точно колдуя ей доброе, смотрела на слабый, не окрепший еще полумесяц ее лба, неясно светлевший в полутьме комнаты.

Вдруг меня тихо позвали из дверей, я вышла в недоумении и увидела неловко стоящих в тесноте около умывальника тех двоих из райкома и Шуру.

— Еле нашли вас, — застенчиво сказал младший. — Поехали, товарищи.

Мы растерянно вышли на улицу и только тогда опомнились, когда в тяжело дышавшем, подпрыгивающем «газике» наши головы сшиблись на повороте.

Они оказались секретарем райкома и его помощником, Иваном Матвеевичем и Ваней.

Скованные стыдом и тяжелым чувством вины перед ними, мы невнятным лепетом уговаривали их не ехать никуда и выспаться.

— Мы выспались уже, — бодро прохрипел из-за руля Иван Матвеевич, — только вот что. Неудобно вас просить, конечно, но это десять минут задержки, давайте заскочим в душевую, как раз в депо смена кончилась.

Решительно выговорив это, он с какой-то даже робостью ждал нашего ответа, а мы сами так оробели перед их бессонницей, что были счастливы и готовы сделать все что угодно, а не то что заехать в душевую.

«Газик», похожий на «виллис» военных времен, резво запрыгал и заковылял через ухабы и рельсы, развернулся возле забора, и мы остановились. Шура остался сидеть, а мы пошли: те двое — в молчание и в тяжелый плеск воды, а я — в повизгивание, смех до упаду и приторный запах праздничного мыла. Но как только я открыла дверь в пар и влагу, все стихло, и женщины, оцепенев, уставились на меня. Мы долго смотрели друг на друга, удивляясь разнице наших тел, отступая в горячий туман. Уж очень по-разному мы были скроены и расцвечены, снабжены мускулами рук и устойчивостью ног. Я брезговала теперь своей глупо белой, незагорелой кожей, а они смотрели на меня без раздражения, но с какой-то печалью, словно вспоминая что-то, что было давно.

— Ну что уставились? — сказала вдруг одна, греховно рыжая, расфранченная веснушками с головы до ног. — Какая-никакая, а тоже баба, как и мы. — И бросила мне в ноги горячую воду из шайки. И без всякого перехода они приняли меня в игру — визжать и заигрывать с душем, который мощно хлестал то горячей, то холодной водой.

А когда я ушла от них одеваться, та, рыжая, позо-

лоченной раскрасавицей глянула из дверей и заокала:

— Эй, горожаночка! Оставайся у нас, мы на тебя быстро черноту наведем.

Иван Матвеевич и Ваня уже были на улице, и такими молодými оказались они на свету, после бани, что снова мне жалко стало их: зачем они только связались со мной и Шурой?

Мы остановились еще один раз. Ваня нырнул, как в омут, в темноту и, вынырнув, бросил к нам назад ватник, один рукав которого приметно потяжелел и булькал.

— Ну, Дорьшева известно где искать, — сказал Иван Матвеевич, посвежевший до почти мальчишеского облика. — Потрясемся часа два, никак не больше.

Жидким, жестяным громом грянул мотор по непроглядной дороге, в темноте зрение совсем уже отказывало нам, и только похолодевшими, переполненными хвоей легкими угадывали мы дико и мощно растущий вокруг лес.

— Эх, уводит меня в сторону! — тревожно и таясь от нас, сказал Иван Матвеевич. — Не иначе баллон спустил.

Он взял правее, и тут же что-то еле слышно хрястнуло у нас под колесом.

— Ни за что погубили бурундучишку, — опечаленно поморщился Ваня.

Одурманенные, как после карусели, подламываясь нетвердыми коленями, мы вышли наружу.

— Не бурундук это! — радостно донеслось из-под машины.

Под правым колесом лежал огромный, смертельно перебитый в толстом стебле желтый цветок, истекающий жирною белой влагой.

— Здоровые цветы растут в Сибири! — пораженно заметил Ваня, но Иван Матвеевич перебил его:

— Ты бы лучше колесо посмотрел, ботаник.

Ваня с готовностью канул во тьму и восторженно заорал:

— В порядке баллон! Как новенький! Показалось вам, Иван Матвеевич! Баллончик хоть куда!

Он празднично застучал по колесу одним каблуком, но Иван Матвеевич все же вышел поглядеть и весело, от всей своей молодости лягнул старенькую, да выносливую резину.

— Ну, гора с плеч, — смущенно доложил он нам. — Не хотел я вам говорить: нет у нас запаски, не успели перемонтировать. Сидели бы тут всю ночь.

Кажется, первый раз за это лето у меня стало легко и беззаботно на душе. Как счастливо все складывалось! Диковатая, неукрошенная луна тяжело явилась из-за выпуклой черноты гор, прояснились из опасной тьмы сильные фигуры деревьев, и, застигнутые врасплох этим ярким, всепроникающим светом, славно и причудливо проглянули наши лица. И когда, подброшенные резким изъемом дороги, наши плечи дружно встретились под худым брезентом, мы еще на секунду задержали их в этой радостной братской тесноте.

Я стала рассказывать им о Москве, я не вспоминала ее: в угоду им я заново возводила из слов прекрасный, легкий город, располагающий к головокружению. Дворцы, мосты и театры складывала я к их ногам взамен сна на черном диване.

Из благодарности к ним я и свою жизнь подвела под ту же радугу удач и развлечений, и столько оказалось в ней забавных пустяков, что они замолкли, не справляясь со смехом, прерывающим дыхание.

Вдруг впереди слабо, как будто пискнул, прорезался маленький свет.

На отчаянной скорости влетели мы в Улус и остановились, словно поймав его за хвост после утомительной погони.

Мы долго стучали на крыльце, прежде чем медленное, трудно выговоренное «Ну!» то ли пригласило нас

в дом, то ли повелело уйти. Все же мы вошли — и замерли.

Прямо перед нами на высоком табурете сидела каменно-большая, в красном и желтом наряде женщина с темно-медными, далеко идущими скулами, с тяжело выложенными на животе руками, уставшими от власти и труда.

Ваня почему-то ничуть не оробел перед этой обширной, тяжело слепящей красотой. Ему и в голову не пришло, как мне, пасть к подножию ее грозного тела и просить прощения неведомо в чем.

— Здравствуйте, мамаша! — бойко сказал он. — А где хозяин? К нему люди из Москвы приехали.

Не зрачками она смотрела на нас, а всей длиной узко и сильно чернеющих глаз. Пока она смиряла в себе глубокий рокот древнего, царственного голоса, чтобы не тратить его попусту на неважное слово, казалось, проходили века.

Каков же должен быть он, ее «повелитель», отец ее детей, которого и ей не дано переглядеть и перемолчать, пред которым ее надменность кротко сникнет? Я представляла себе, как он, знаменитый сказитель, войдет в свой дом и оглянет его лукаво и самодовольно: ради этого дома он погнушался городской славы и почета, а чего только не сулили ему! Без корысти лицемерия, он скромно вздохнет. Нет, он не понимает, почему не поют другие. Только первый раз трудно побороть немоту, загромаждающую гортань. Зато потом так легко принять в грудь, освобожденную от душного косноязычия, чистый воздух и вернуть его полным и круглым звуком. Как сладко, как прохладно держать за щекой леденец еще не сказанного слова! Разве он сочинил что-нибудь? Он просто вспомнил то, что лежит за пределами памяти: изначальную влажность земли, вспоившую чью-то первую алчность жизни, высыхание степи, вспомнил он и то время, когда сам он был маленькой алой темнотой, предназначенной к жизни, и все то, что

знали умершие, и то, чего еще никогда не было, да и вряд ли будет на земле.

Да и не поет он вовсе, а просто высоко, натужно бормочет, коряво пощипывая пальцем самодельную струну, натянутую вдоль полого длинного ящика.

Но вот острое кочевничье беспокойство легкой молнией наискось пробьет его неподвижное тело, хищной рукой он сорвет со стены чатхан с шестью струнами и для начала покажет нам ловкий кончик старого языка, в котором щекотно спит до поры звездная тысяча тах-пахов-песен, ведомых только ему.

Потом он начнет раздражать и томить инструмент, не прикасаясь к его больному месту, а ходя пальцами вокруг да около, пока тот, доведенный до предела тишины, сам не исторгнет печальной и тоненькой мелодии. Тогда, зовуще заглядывая в пустое нутро чатхана, выкликнет он имя богатыря Кюн-Тениса — раз и другой. Никто не отзовется ему. Красуясь перед нами разыгранной неудачей, загорюет он, заищет в струнах, и на радость нашему слуху, явится милый богатырь, одетый в красный кафтан на девяти пуговках, добрый и к людям и к скоту.

Так я слушала свои мысли о нем, а в ее небыстрых устах зрели, образовывались и наконец сложились слова:

— Нет его. Ушел за медведем на Белый Июс.

Зачарованная милостивым ее ответом, я не заметила даже, как с горестным сочувствием и виновато Иван Матвеевич и Ваня отводят от меня глаза. (Шурато, наверное, и не ожидал ничего другого). Но не жаль мне было почему-то, что, усугубляя мои невзгоды, все дальше и дальше в сторону Белого Июса, точно вслед медведю, легко празднуя телом семидесятилетний опыт, едет на лошади красивый и величавый старик. Родима и уютна ему глубокая бездна тайги, и конь его не ошибается в дороге, нацелившись смелой ноздрей на гибельный и опасный запах.

Но тут как бы сквозняком вошла в дом распаленная движением девушка и своей разудалой раскосостью, быстрым говором и современной кофтенкой расколдовала меня от чар матери.

Она сразу поняла, что к чему, без промедления обняла меня пахнувшими степью руками и, безбоязненно сдернув с высокого гвоздя отцовский чатхан, заявила:

— Не горюйте, услышите вы, как отец поет. Я вам его брата позову — и совсем не так и все-таки похоже.

Она повлекла нас на крыльцо, с крыльца и по улице, ясно видя в ночи. Возле большого, не веющего жильем дома она прыгнула, не примериваясь, где-то в вышине поймала ключ и, вталкивая нас в дверь, объяснила:

— Это клуб. Идите скорей: электричество до двенадцати.

Выдав нам по табуретке, она четыре раза назвалась Аней, на мгновение подарив каждому из нас маленькую трепещущую руку. Затем повелела темноте за окном:

— Коля! Веди отцовского брата! Скажи, гости из Москвы приехали.

— Сейчас, — покорно согласились потемки.

Аня, словно яблоки с дерева рвала, без труда доставала из воздуха хлеб, молоко и сыр и раскладывала их перед нами на чернильных узорах стола. Иван Матвеевич нерешительно извлек из ватника бутылку водки и поместил ее среди прочей снеди.

Тут обнаружился в дверях тонко сложенный и обветренный, как будто только что с коня, юноша и положил Ане:

— Не идет он. Говорит, стыдно будить старого человека в такой поздний час.

— Значит, сейчас придет вместе с женой, — предупредила Аня. — Вы наших стариков еще не знаете: все делают наоборот себе. Интересно им что-нибудь — голы не повернут посмотреть; поговорить хочется до

смерти, вот как матери моей, — ни одного слова не услышите. А если так и подмывает глянуть на гостей, разведать, зачем приехали, нарочно спать улягутся, чтобы уговаривали.

Мне и самой потом казалось, что эти люди в память древней привычки делать только насущное стараются побарывать в себе малые и лишние движения: любопытство, разговорчивость, суетливость.

Мы вытрясли из единственного стакана карандаши и скрепки и по очереди выпили водки и молока. Я сидела в полспины к Шуре, чтобы не помешать ему в этих двух полезных и сладких глотках, но поняла все же, что он не допил своей водки и передал стакан дальше.

— Ну, за ваши удачи, — сказал Иван Матвеевич, настойчиво глядя мне в глаза, и вдруг я подумала, что он разгадал меня, добро и точно разгадал за всеми рассказами мою истинную неуверенность и печаль.

— Спасибо вам, — сказала я, и это «спасибо» запело и заплакало во мне.

Снова заговорили о Москве, и я легко, без стыда рассказала им, как мне что-то не везло последнее время... Окончательно развенчав и унизив свой первоначальный «столичный» образ, я остановилась. Они серьезно смотрели на меня.

Сосредоточившись телом, как гипнотизер, трудным возбуждением доведя себя до способности заклинать, ощущая мгновенную власть над жизнью, Ваня сказал:

— Все это наладится.

Все торжественно повторили эти слова, и Аня тоже подтвердила:

— Наладится.

Милые люди! Как щедро отrekliсь они от своих неприятностей, употребив не себе, а мне на пользу восточную многозначительность этой ночи и непростое сияние луны, и у меня действительно все наладилось вскоре, спасибо им!

В двенадцать часов погас свет, и Аня заменила его мутной коптилкой. В сенях, словно в недрах природы, возник гордый медленный шум, и затем, широко отражая наш скудный огонь, всплыли одно за другим два больших лица.

На нас они и не глянули, а, имея на губах презрительное и независимое выражение, устали куда-то чуть пониже луны.

— Явились наконец, — приветствовала их Аня.

Они только усмехнулись: огромный и плавный в плечах старик, стоящий впереди, и женщина, точно производящая его наружность и движения, не выходящая из тени за его спиной.

— Садитесь, пожалуйста, — пригласили мы.

— Нет уж, — с иронией ответил старик, обращаясь к луне, и у нее же строптиво осведомился: — Зачем звали?

— Спойте нам отцовские песни, — попросила его Аня.

Но упрямый гость опять не согласился:

— Ни к чему мне его песни петь. Медведя убить недолго, вернется и споет.

— Ну, свои спойте, ведь люди из Москвы приехали, — умоляли в два голоса Аня и Коля.

— Зря они ехали, — рассердился старик, — зачем им мои песни? Им и без песен хорошо.

Мы наперебой стали уговаривать его, но он, вконец обидевшись, объявил:

— Ухожу от вас. — И тут же прочно и довольно уселся на лавке, и жена его села рядом. Но, нанеся такой вред своему нраву, он молвил с каким-то ожесточением:

— Не буду петь. Они моего языка не знают.

— Ну, не пойте, — не выдержала Аня, — обойдемся без вас.

— Ха-ха! — надменно и коротко выговорил старик, и жена в лад ему усмехнулась.

— Может быть, выпьете с нами? — предложил Иван Матвеевич.

— Ну уж нет, — оскорбленно отказался старик и протянул к стакану тяжелую, цепкую руку. Он выпил сам и, не поворачивая головы, снисходительно и ехидно глянул косиной глаза, как, не меняясь в лице, пьет жена.

Иван Матвеевич тем временем рассказывал, что у них в райкоме все молодые, а тех, кто постарше, перевели кого куда, урожай в этом году большой, но дожди, и рук не хватает, еще кинемеханик заболел, вот Ваня и таскает за собой передвижку, чтобы хоть чуть отвлечь людей от усталости, а пока невеста хочет его бросить — за бензинный дух и красные, как у кролика, глаза.

— Мне-то хорошо, — улыбнулся Иван Матвеевич, — моя невеста давно замуж вышла, еще когда я служил во флоте на Дальнем Востоке.

— Ну, давай, давай чатхан! — в злобном нетерпении прикрикнул старик и выхватил из Аниных рук простой, белого дерева инструмент. Он долго и недоброжелательно примеривался к нему, словно ревновал его к хозяину, потом закинул голову, словно хотел напиться и освобождал горло. В нашу тишину пришел первый, гортанный и горестный звук.

Он пел хрипло и ясно, выталкивая грудью прерывистый, насыщенный голосом воздух, и все, что накопил он долгим бесчувствием и молчанием, теперь богато расточалось на нас. В чистом тщеславии высоко вознеся лицо, дважды освещенное — луной и керосиновым пламенем, он похвалялся перед нами глубиной груди, допускал нас заглянуть в ее далекость, но dna не показывал.

— Он поет о любви, — застенчиво пояснил Коля, но я сама поняла это, потому что на непроницаемом лице женщины мелькнуло вдруг какое-то слабое, неуловимое движение.

— Хорошо я пел? — горделиво спросил старик.

Мы принялись хвалить его, но он гневно нас одернул:

— Плохо я пел, да вам не понять этого. Семен поет лучше.

Я снова подумала: каков же должен быть тот, другой, всех превзошедший голосом и упрямством?

Мы уже собирались укладываться, как вдруг в дверях встало желто-красное зарево, облегающее ту женщину, и я вновь приняла на себя сказочный гнев ее воли.

— Иди, — звучно сказала она, словно не губы служили ее речи, а две сведенные медные грани.

Я подумала, что она зовет дочь, но ее согнутый утяжеленный кольцом палец смотрел на меня.

— Правда, идемте к нам ночевать! — обрадовалась Аня и ласково прильнула ко мне, снова пахнув на меня травой, как жеребенок.

Меня уложили на высокую чистую постель под чатханом, хозяин которого так ловко провел меня, оседлав коня в тот момент, когда я отправилась на его поиски.

Я легко улыбнулась своему счастливому злополучию и заснула.

Проснувшись от внезапного беспокойства, я увидела над собой длинные черные зрачки, не оставившие места белкам, глядящие на меня с острым любопытством.

Видно, эта женщина учуяла во мне то, далекое, татарское, милое ей и теперь вызывала его на поверхность, любовалась им и обращалась к нему на языке, неведомом мне, но спящем где-то в моем теле.

— Спи! — сказала она и с довольным смехом положила мне на лицо грузную, добрую ладонь.

Утром Аня повела меня на крыльцо умываться и, озорничая и радуясь встрече, плеснула мне в лицо ледяной, вкусно охолодившей язык водой. Сквозь радуги, повисшие на ресницах, увидела я вкривь и вкось сия-

ющее, ярко-золотое пространство. Горы, украшенные голубыми деревьями, близко подступали к глазам, и было бы душно смотреть на них, если бы в спину чисто и влажно не сквозило степью.

Кто-то милый ткнул меня в плечо, и по родному, трогательному запаху я отгадала, кто это, и обернулась, ожидая прекрасного. Славная лошадь приветливо глядела на меня.

— Ты что?! — ликующе удивилась Аня и, повиснув у нее на шее, поцеловала ее крутую, чисто-коричневую скулу.

Оцепенев, я смотрела на них и никак не могла отвести взгляда.

...Мои спутники были давно готовы к дороге. Иван Матвеевич и Ваня обернулись пригожими незнакомцами. Даже Шура стал молодцом, свободно расположив между землей и небом свою высоко протяженную худибу.

Аня прощально припала ко мне всем телом, и ее быстрая кровь толкала меня, напирала на мою кожу, словно просилась проникнуть вовнутрь и навсегда оставить во мне свой горьковатый, тревожный привкус.

Женщина уже царствовала на табурете, еще ярче краснея и желтея платьем в честь воскресного дня. Мы поклонились ей, и снова ее продолговатый всевидящий глаз объемно охватил нас в лицо и со спины, с нашим прошлым и будущим. Она кивнула нам, почти не утруждая головы, но какая-то ободряющая тайна быстро мелькнула между моей и ее улыбкой.

На пороге крайнего дома с угасшими, но еще вкусными трубками в сильных зубах сидели вчерашний певец и его жена. Как и положено, они не взглянули на нас, но Иван Матвеевич притормозил и крикнул:

— Доброе утро! Археологов не видали где-нибудь поблизости? Может, кто палатки заметил или ходил землю копать?

— Никого не видали, — замкнуто отозвался старик, и жена повторила его слова.

Мы выехали в степь и остановились. Наши ноги осторожно ступили на землю, как в студеную чистую воду: так холодно-ясно все сияло вокруг, и каждый шаг раздавливал солнышко, венчающее острие травинки. Бурный фейерверк перепелок взорвался вдруг у наших лиц, и мы отпрянули, радостно испуганные их испугом. Желтое и голубое густо росло из глубокой земли и свадебно клонилось друг к другу. Растроганные доверием природы, не замкнувшей при нашем приближении свой нежный и незащитный раструб, мы легли телом на ее благословенные корни, стебли и венчики, опустив лица в холодный ручей.

Вдруг тень всадника накрыла нас легким облаком. Мы подняли головы и узнали юношу, который так скромно, в половину своей стати, проявил себя вчера, а теперь был целостен и завершен в неразрывности с рослым и гневным конем.

— Старик велел сказать, — проговорил он, с трудом остывая от ветра, — археологи на крытой машине, девять человек, один однорукий, стояли вчера на горе в двух километрах отсюда.

Одним взмахом руки он простился с нами, подзадорил коня и как бы сразу переместил себя к горизонту.

Наш «газик», словно переняв повадку скакуна, фыркнул, взбрыкнул и помчался, слушаясь руки Ивана Матвеевича, вперед и направо мимо огромной желтизны ржаного поля. При виде этой богатой ржи лица наших попутчиков утратили утреннюю ясность и вернулись к вчерашнему выражению усталости и заботы.

— Хоть бы неделю продержалась погода! — с отчаянием взмолился Ваня и без веры и радости придиричливо оглядел чистое, кроткое небо.

...Мы полезли вверх по горе, цепляясь за густой орешник, и вдруг беспомощно остановились, потому что

заняты стали наши руки: сами того не ведая, они набрали полные пригоршни орехов, крепко схваченных в грозди нежно-кислою зеленью.

Щедра и приветлива была эта гора, всеми своими плодами она одарила нас, даже приберегла в тени неожиданную позднюю землянику, которая не выдерживала прикосновения и проливалась в пальцы приторным, темно-красным медом.

— Вот он, бурундучишка, который вчера уцелел, — прошептал Ваня.

И правда, на поверженном стволе сосны, уже погребенном во мху, сидел аккуратно-оранжевый, в чистую белую полоску зверек и внимательно и бесстрашно наблюдал нас двумя черно-золотыми капельками.

Археологи выбрали для стоянки уютный пологий просвет, где гора как бы сама отдыхала от себя перед новым подъемом. Резко повеяло человеческим духом: дымом, едой, срубленным ельником. Видно, разумные, привыкшие к дороге люди ночевали здесь: последнее тление костра опрятно задушено землею, колышки вбиты прочно, словно навек, банки из-под московских консервов, грубо сверкающие среди чистого леса, стыдливо сложены в укромное место. Но не было там ни одного человека из тех девяти во главе с одноруким, и природа уже зализывала их следы влажным целебным языком.

У Шуры колени подкосились от смеха, и он нескладно опустился на землю, как упавший с трех ног мольберт.

— Не обращайтесь внимания, — едва выговорил он, — все это так и должно быть.

Но те двое строго и непреклонно смотрели на нас.

— Что вы смеетесь? — жестко сказал Иван Матвеевич. — Надо догонять их, а не рассиживаться.

И тогда мы поняли, что эта затея обрела вдруг высокий и важный смысл необходимости с тех пор, как эти люди украсили ее серьезностью и силою сердца.

Мы сломя голову бросились с горы, оберегаемые пружинящим сопротивлением веток. Далеко в поле стрекотал комбайн, а там, где рожь подходила вплотную к горе, женщины побарывали ее серпами. Иван Матвеевич и Ваня жадно устали на рожь, на комбайн и на женщин, прикидывая и вычисляя, и лица их отдалились от нас. Оба они поиграли колосом, сдули с ладони лишнее и медленно отведали зубами и языком спелых, пресно-сладких зерен, как бы предугадывая их будущий полезный вкус, когда они обратятся в зрелый и румяный хлеб.

— Когда кончить-то собираетесь, красавица? — спросил Иван Матвеевич у жницы, показывающей нам сильную округлую спину.

Сладко хрустнув косточками, женщина разогнулась во весь рост и густо темной глянула на нас из-под низко повязанного платка. Уста ее помолчали недолго и пропели:

— Если солнышко поможет, — за три дня, а вы руку приложите, так сегодня к обеду управимся.

— Звать-то тебя как? — отозвался ее вызову Иван Матвеевич.

Радостно показывая нам себя, не таясь ладным, хороводно-медленным телом, она призналась с хитростью:

— Для женатых — Катерина Моревна, для тебя — Катенька.

Теперь они оба играли, прямо глядя в глаза друг другу, как в танце.

— А может, у меня три жены.

— Я к тебе и в седьмые пойду.

— Ну, хватит песни петь, — спохватился Иван Матвеевич. — Археологи на горе стояли — с палатками, с крытой машиной. Не видела, куда поехали?

— Видала, да забыла, — завела она на прежний мотив, но, горько разбуженная его деловитостью, опомнилась и буднично, безнапечно сказала, вновь поникая спиной: — Все их видали, девять человек, с ними дев-

ка и однорукый, вчера к ночи уехали, на озере будут копать.

— Поехали! — загорелся Иван Матвеевич и погнался нас к «газику», совсем заскучавшему в тени.

— Знаю я это озеро, — возбужденно говорил Ваня. — Там всяких первобытных черепков тьма-тьмуца. Экскаватору копать нельзя: то сосуд, то гробница. Весной готовили там яму под столб, отрыли кувшин и сдали к нам в райком. Так себе кувшинчик — сделан-то хорошо, но грязный, зеленый от плесени. Стоял он, стоял в красном уголке — не до него было, — вдруг налетели какие-то ученые, нюхают его, на зуб пробуют. Оказалось, он еще до нашей эры был изготовлен.

Всем этим он хотел убедить меня и Шуру, что на озере мы обязательно поймем легких на подъем археологов.

Переутомленные остротой природы, мы уже не желали, не принимали ее, а она все искушала, все казнила нас своей яркостью. Ее цвета были возведены в такую высокую степень, что узнать и назвать их было невозможно. Мы не понимали, во что окрашены деревья, — настолько они были зеленее зеленого, а воспаленность соцветий, высоко поднятых над землей могучими стеблями, только условно можно было величать желтизной.

Машина заскользила по красной глине, оступаясь всеми колесами. Слева открылся крутой обрыв, где в глубоком разрезе земли, не ведая нашей жизни, каждый в своем веке, спали древние корни. Держась вплотную к ним, правым колесом разбивая воду, мы поехали вдоль небольшой быстрой реки. Два ее близких берега соединял канатный паром.

Согласно перебирая ладонями крученное железо каната, мы легко перетянули себя на ту сторону.

Озеро было большое, скучно-сладкое среди других, крепко посоленных озер. Наслаждаясь его пресностью, рыбы теснились в нем. Рыболовецкий совхоз

как мог «облегчал» им эту тесноту: по всему круглому берегу сушились большие и продуваемые ветром, как брошенные замки, сети.

В конторе никого не было, только белоголовый мальчик, как наказанный, томился на лавке под доской почета. Он неслыханно обрадовался нам и в ответ на наш вопрос об археологах, заикаясь на каждом слове, восторженно залепетал:

— Есть, есть, в клубе, в клубе, я вас отведу, отведу.

Он сразу полюбил нас всем сердцем, пока мы ехали, перелез по кругу с колен на колени ко всем по очереди, приклеиваясь чумазой щекой.

— Ага, не ушли от нас! — завопил Ваня, заметив возле клуба крытый кузов грузовика.

— Не ушли, не ушли! — счастливо повторял мальчик.

Отворив дверь, мы наискось осветили большую затемненную комнату. В ее пахнущей рыбой полутьме приплясывали, бормотали и похаживали на руках странные и непригожие существа. Видимо, какой-то праздник происходил в этом царстве, но наше появление смутило его неладный порядок. Все участники этого темного и необъяснимого действия, завидев нас, в отчаянии бросились в дальний угол, оскальзываясь на серебряном конфетти рыбьей чешуи. И тогда, прикрывая собой их бегство, явился перед нами маленький невзрачный человек и объявил с воробьиной торжественностью:

— Да мы не профессионалы, мы от себя работаем!..

Он смело бросил нам в лицо эти гордые слова, и я почувствовала, как за моей спиной сразу сник и опечалился добрый Шура.

— Так, — потрясенно вымолвил Иван Матвеевич и, подойдя к окну, освободил его от мрачно-ветхого одеяла, заслонявшего солнце.

Среди чемоданов, самодельных ширм, оброненных

на пол красных париков обнаружилось несколько человек, наряженных в бедную пестроту бантиков, косынок и беретов. В ярком и неожиданном свете дня они стыдливо и неумело томились, как выплеснутые на сушу водяные.

Меж тем маленький человек опять храбро выдвинулся вперед и заговорил, обращаясь именно ко мне и к Шуре, — видимо, он что-то приметил в нас, что его смутно обнадеживало.

— Мы действительно по собственной инициативе, — подтвердил он каким-то испуганным и вместе героическим голосом.

Тут он всполошился, забегал, нырнул в глубокий клам и выловил там длинный лист бумаги, на котором жидкой кокетливой акварелью было выведено: «ЭСТРАДНО-КОМИЧЕСКИЙ КОСМИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ». Рекламируя таким образом программу ансамбля, он застенчиво придерживал нижний нераскрученный завиток афиши, видимо, извещавший зрителя о цене билетов.

Поощренный нашей растерянностью, он резво и даже с восторгом обратился к своей труппе:

— Друзья, вот счастливый момент доказать руководящим товарищам нашу серьезность.

И жалобно скомандовал:

— Афина, пожалуйста!

Вышла тусклая, словно серым дождем прибитая, женщина. Она в страхе подняла на нас глаза, и сквозь скучный, нецветной туман ее облика забрезжило вдруг яркое синее солнышко детского взгляда. Ее как-то вообще не было видно, словно она смотрела на нас сквозь щель в заборе, только глаза синели, совсем одни, они одиноко синели, перебиваясь кое-как, вдали от нее, не ожидая помощи от ее слабой худобы и разладившихся пружин перманента.

Она торопливо запела, опустив руки, но они тяготили ее, и она сомкнула их за спиной.

— Больше мажора! — поддержал ее маленький человек.

— Тогда я, пожалуй, спою с движениями? — робко отозвалась она и отступила за ширму. Оттуда вынесла она большой капроновый шарф с опадающей позолотой и двинулась вперед, то широко распахивая, то соединяя под грудью его увядшие крылья.

Она грозно и бесстыдно наступала на нас озябшими локтями и острым голосом, а глаза ее синели все так же боязливо и недоуменно. Смущенно поддаваясь ее натиску, мы пятились к двери, и все участники ансамбля затаенно и страстно следили за нашим отходом.

— Эх, доиграетесь вы с вашей халтурой! — предостерег их Ваня.

На крыльце мы вздохнули разом и опять улыбнулись друг другу в какой-то странной радости.

Тут опять объявился мальчик и, словно мы были ненаглядно прекрасны, восхищенно уставился на нас.

— А других археологов не было тут? — присев перед ним для удобства, спросил Иван Матвеевич.

— Нет, других не было, — хорошо подумав, ответил мальчик. — Шпионы были, но я проводил их уже.

— Ишь ты! — удивился Иван Матвеевич. — А что ж они здесь делали?

Мальчик опять заговорил, радуясь, что вернулась надобность в нем.

— Приехали, приехали и давай, давай стариков расспрашивать. А главный все пишет, пишет в книжку. Я ему сказал: «Ты шпион?», — а он засмеялся и говорит: «Конечно». И дал мне помидор. Потом говорит: «Ну, пора мне ехать по моим шпионским делам. А если пограничники будут меня ловить, скажи, уехал на Курганы». Но я никому ничего не сказал, только тебе, потому что он, наверно, обманул меня. И жалко его: он однорукий.

— Эх ты, маленький, расти большой, — сказал Иван Матвеевич, поднимаясь и его поднимая вместе с

собой. Босые ножки полетали немного в синем небе и снова утвердились в пыли около озера. Я погладила мальчика по прозрачно-белым волосам, и близко под ними, пугая ладонь хрупкостью, обнаружилось теплое и круглое темя, вызывающее любовь и нежность.

На Курганах воскресенье шло своим чередом. По улице, с одной стороны имеющей несколько домов, а с другой — далекую и пустую степь, гулял гармонист, вполсилы растягивая гармонь. За ним, тесно взявшись под руки, следовали девушки в выходных ситцах, а в отдалении вилось пыльное облачко детворы. Изредка одна из девушек выходила вперед всей процессии и делала перед ней несколько кругов, притоптывая ногами и выкрикивая частушку. Вроде бы и незатейливо они веселились, а все же не хотели отвлечься от праздника, чтобы ответить на наш вопрос об археологах. Наконец выяснилось, что никто не видел крытой машины и в ней девяти человек с одноруким.

— Разве это археологи? — взорвался вдруг Ваня. — Это летуны какие-то! Они что, дело делают, или в прятки играют, или вообще с ума сошли?

— А ты думал, они сидят где-нибудь, ждут-пождут, и однорукий говорит: «Что-то наш Ваня не едет?»? — одернул его Иван Матвеевич и быстро глянул на нас: не обиделись ли мы на Ванину нетерпеливость?

У последнего дома мы остановились, чтобы опорожнить канистру с бензином для поддержки «газика», а Ваня распластался на траве, обновляя мыльную заплату на бензобаке.

На крыльцо вышла пригожая старуха, и Иван Матвеевич тотчас обратился к ней:

— Бабка, а не видала ты... — Он тут же осекся, потому что из бабкиных век смотрели только две чистые, пустые, широко открытые слезы.

— Ты что примолк, милый? — безгневно отозвалась она. — Ты не смотри, что я слепая, может, и видала чего. Меня вон давеча проезжий человек утешил,

когда мою воду пил. Ты, говорит, мать, не скучай по своим глазам. У человека много всего человеческого, каждому калеке что-нибудь да останется. У меня, говорит, одна рука, а я ею землю копаю.

— Ну и бабка! — восхищенно воскликнул Иван Матвеевич. — Я ведь как раз этого однорукого ищу. Куда же он отсюда поехал?

— Отсюда-то вон туда, — она указала рукой, — а уже оттуда куда, не спрашивай — не знаю.

— Верно, вот их след, — закричал Ваня, — на полуторке они от нас удирают!

— Нам теперь прямая дорога в уголовный розыск, — заметил Иван Матвеевич, бодро усаживаясь за руль. — Или в индейцы. Хватит жить без приключений!

У нас глаза сузились от напряжения и от света, летящего навстречу, в лицах появилось что-то древневоенное и непреклонное. «Газик» наш — гулять так гулять! — неистово гремел худым железом, и орлы, парящие вверху, брезгливо пережидали в небе нашу музыку.

Вдруг нам под ноги выкатилась большая фляга, обернутая войлоком. Мы не могли понять, ни откуда она взялась, ни что в ней, но наугад стали отхлебывать из горлышка прямо на ходу и скоро как щенки, перемазались в белой сладости. Фляга ударяла нас по зубам, и мы хохотали, обливаясь молоком, отнимая друг у друга его косые всплески. Мы нацеливались на него губами, а оно метило нам в лицо, мгновенным бельмом проплывало в глазу и клеило волосы. Но когда я уже отступилась от погони за ним, перемогая усталость дыхания, оно само пришло на язык, и его глубокий и чистый глоток растворился во мне, напоминая Аню. Это она, волшебная девочка, дочь волшебницы, предусмотрительно послала мне свое крепкое снадобье, настоенное на всех травах, цветах и деревьях. И я, вновь похолодев от тоски и жадности, пригубила ее живой и добрый мир. Его дети, растения и звери приблизились к

моим губам, влажно проникая в мое тело, и ничего, кроме этого, тогда во мне не было.

Подослепшие от тяжелого степного солнца, нетрезво звенящего в голове, мы снова попали в хвойное поднебесье леса. Он осыпал на наши спины прохладный дождь детских мурашек, и разомлевшее тело строго подобралось в его свежести. Никогда потом не доводилось мне испытывать таких смелых и прихотливых чередований природы, обжигающих кожу веселым ознобом.

— Они в Сагале, больше негде им быть, — уверенно сказал Иван Матвеевич.

Мы остановились возле реки и умылись, раня ладони острым холодом зеленой воды.

На переправе мы хором, азартно и наперебой спросили:

— Был здесь грузовик с крытым кузовом?

— И с ним девять человек?

— Среди них — однорукый?

— И девушка? — мягко добавил Шура.

Не много машин переправлялось здесь в воскресенье, но старый хакас, работавший на пароме, долго размышлял, прежде чем ответить. Он раскурил трубку, отведал ее дыма, сдержанно улыбнулся и промолвил:

— Были час назад.

— Судя по всему, они должны быть в столовой, — обратился Иван Матвеевич к Ване. — Как ты думаешь, следопыт?

— Я думаю, если они даже сквозь землю провалились, в столовую нам не мешает заглянуть, — решительно заявил Ваня. — Целый день не ели, как верблюды.

— Может, Ванюша, ты по невесте скучаешь? — поддел его Иван Матвеевич.

Он, видимо, чувствовал, что нам с Шурой все больше делалось стыдно за их даром пропавшее воскресение.

сенье, и потому не позволял Ване никаких проявлений недовольства. Ваня ненадолго обиделся и замолк.

В совхозной чайной было светло и пусто, только два вместе сдвинутых стола стояли неубранными. Девять пустых тарелок, девять ложек и вилок насчитали мы в этом беспорядке, оцепенев в тяжелом волнении.

Я помню, что горе, настоящее горе осенило меня. Чем провинились мы перед этими девятью, что они так упорно и бессмысленно уходили от нас?

— Где археологи? — мрачно спросил Иван Матвеевич у розово-здоровой девушки, вышедшей убрать со стола.

— Они мне не докладывались, — с гневом отвечала она, — нагрязнили посуды — и ладно.

— Мало в тебе привета, хозяйка, — укорил ее Иван Матвеевич.

— На всех не напасешься, — отрезала она. — А вы за моим приветом пришли или обедать будете?

— А были с ними однорукий и девушка? — застенчиво вмешался Шура.

Он уже второй раз с какой-то нежностью в голосе поминал об этой девушке: видимо, ее неопределенный, стремительно ускользающий образ трогал его своей недосыгаемостью.

Но, кажется, именно в этой девушке и крылась причина немилости, павшей на наши головы.

— У нас таким девушкам вслед плюют! — закричала наша хозяйка. — Вырядилась в штаны — не то баба, не то мужик, глазам смотреть стыдно. И имя-то какое ей придумали! Я Ольга, и все Ольги, а она Э-льга! Знать, и родители ее бесстыдники были, вот и вышла Эль-га! Одна на восемь мужиков, а они и рады: всю мою герань для нее общипали. Отобедали — и ей, ей первой спасибо говорят, а уж за что спасибо, им одним известно.

— Как вам не стыдно! — не выдержал Шура. — Что она вам худого сделала? Ведь она работает здесь,

одна, далеко от дома, думаете, легко ей с ними ездить?

— Что ты меня стыдишь? — горько сказала она, утихая голосом, и, поникнув розовым лицом на розовые локти, вдруг заплакала.

Иван Матвеевич ласково погладил ее по руке и поймал пальцем большую круглую слезу, уже принявшую в себя ее розовый цвет.

— Полно горевать, — утешал он ее, — у тебя слезинка — и та красавица. У них в городе все по-своему. А ты меня возьми спасибо говорить.

— А сам, небось, поедешь ее догонять? — ответила она, повеселев и одного только Шуру не прощая взглядом. — Что есть будете?

Мы уже перестали торопиться и, ослабев, медленно ели глубокий, нежно-крепкий борщ и оладьи, вздыхающие множеством круглых ноздрей. Сильный розовый отблеск хозяйки как бы плыл в борще, ложился на наши лица, вода, подкрашенная им, отдавала вином. За окном близко от нас садилось солнце.

Рядом, опаяя ресницы, действовала вечная закономерность природы: земля и солнце любовно огибали друг друга, сгущались земные облака над деревьями, иные планеты отчетливо прояснялись в небесах.

Быстро темнело, и только женщина смиренно как бы теплилась в углу. Усталость клонила наши головы, ничего больше нам не хотелось.

— Зато выспитесь сегодня, — осторожно сказала я Ивану Матвеевичу и Ване.

Они тут же вскочили.

— Поехали! — крикнул Иван Матвеевич.

Мы помчались, не разбирая дороги. Иногда одинокая фигура, темнеющая далеко в степи, при нашем приближении распадалась на два тоненьких силуэта, и четыре затуманенных глаза в блаженном неведении смотрели на нас. Тени встревоженных животных изредка пересекали свет впереди, и тогда Ваня в добром испуге хватался за рукав Ивана Матвеевича.

Никто из неспящих в этой ночи ничего не знал об археологах. Раза два или три нас посылали далеко направо или налево, и мы, описав долгую кривую, находили в конце ее геологов, метеорологов, каких-то студентов или неведомых людей, тоже чего-то ищущих в Сибири.

Мы давно уже не знали, где мы, когда Иван Матвеевич с тревогой признался:

— Кончается бензин, меньше нуля осталось.

Вдали, в сплошной черноте, вздрагивал маленький оранжевый огонь. Наш «газик» все-таки дотянул до него из последних сил и остановился. Возле грузовика, стоящего поперек дороги, печально склонившись к скудному костру, воняющему резиной, сидел на земле человек.

— Браток, не одолжишь горючего? — с ходу обратился к нему Иван Матвеевич.

— Да понимаешь, какое дело, — живо отозвался тот, поднимая от огня яркое лицо южанина, — сам стою с пустым баком. Второй час уже старую запаску жгу.

Он говорил с акцентом, и из речи его, трудно напрягающей горло, возник и поплыл на меня город, живущий в горах, разгоряченный солнцем, громко говорящий по утрам и не утихающий ночью, в марте горько расцветающий миндалем, в декабре гордо увядающий платанами, щедро одаривший меня добром и лаской, умудривший мой слух своей огромной музыкой. Не знаю, что было мне в этом чужом городе, но я всегда нежно тосковала по нему, и по ночам мне снилось, что я легко выговариваю его слова, недоступные для моей гортани.

Иван Матвеевич и Ваня грустно, доверчиво и словно издалека слушали, как мы с этим шофером говорим о его стране, называя ее странным именем «Сакартвело».

Между тем становилось очень холодно, это резко

континентальный климат давал о себе знать, остужая нас холодом после дневной жары.

Все они стали упрашивать меня поспать немного в кабине. Я отказалась и сразу же заснула, склонившись головой на колени.

Очнулась я среди ватников и плащей, укрывших меня с головой. Озябшее тело держалось как-то прямоугольно, онемевшие ноги то и дело смешно подламывались. Было еще бессолнечно, но совсем светло. Иван Матвеевич и тот шофер, сплевывая, отсасывали бензин из шланга, уходящего другим концом в глубину бензовоза, стоящего поодаль. Его водитель до упаду смеялся над нашими бледно-голубыми лицами и нетвердыми, как у ягнят, коленями.

— И такие красавцы чуть не погибли в степи! — веселился он. — Из-за бензина! А у меня этого добра целая бездонность. Так бы и зимовали тут, если бы не я.

Но Иван Матвеевич и Ваня, пригорюнившись с утра, ничего не отвечали.

У грузина под сиденьем припрятана была бутылка вина. Мы позавтракали только этим вином, уже чуть кислившим, но еще чистым и щекотным на вкус, и наскоро простились. Пыль, разбуженная двумя машинами, рванувшимися в разные стороны, соединилась в одну хлипкую, непрочную тучку, повисела недолго над дорогой и рассеялась.

Мы все молчали и словно стеснялись друг друга. Красное, точно круглое солнце понедельника уже отрывалось от горизонта. Мы никого больше не искали, мы возвращались, до Тумы было часа четыре езды.

И тут что-то добро и тепло обомлело там, в самой нашей глубине, видимо, слабое вино, принятое натоцак, все же оказывало свое действие. Как долго было все это: из маленького, кислого, зеленого ничего образовывалось драгоценное, округлое тело ягоды с темными сердечками косточек под прозрачной кожей; все тягостнее, непосильней, томительней гроздь угнетала лозу;

затем, бережно собранные воедино, разбивались хрупкие сосуды виноградин, и освобожденная влага опасно томилась и пенилась в чане; старик кахетинец и его молодые красивые дети, все умеющие петь, помещали эту густую сладость в кувшины с коническим дном, зарытые в землю, и постепенно укрощали и воспитывали ее буйность. И все затем, чтобы в это утро, не принесшее нам удачи, мы испытали неопределенную радость и доброту друг к другу. Мы сильно, нежно ни с того ни с сего переглянулись вчетвером в последний раз в степи, под солнцем, уже занявшим на небе свое высокое неоспоримое место.

У переправы через Гутым сгрудилось несколько машин, ожидающих своей очереди. Мы пошли к реке, чтобы умыться. Там плескался, зайдя в воду у берега, какой-то угрюмый человек, оглянувшийся на нас криво и подозрительно.

— Возишь кого или сам начальство? — спросил он у Ивана Матвеевича, обнажив праздничный самородок зуба, недобро засиявший на солнце.

— А черт меня знает, — рассеянно и необщительно ответил Иван Матвеевич.

— Ну, а я сам с чертом одноруким связался. Замучили совсем, гробокопатели ненормальные, день и ночь с ними разъезжаю — ни покушать, ни пожрать, да еще землю рыть заставляют.

Вяло обмерев, слушали мы, как он говорит со злорадством и мукóй, выдыхая свое золотое сияние.

— Где они? — слабо и боязливо выговорил Иван Матвеевич.

— Вон, вон! — в новом приливе ожесточения забубнил человек, протыкая воздух указательным пальцем. — То носились, как угорелые, а теперь палатки поставили и сидят, ничего не делают.

В стороне, близко к воде, и правда, белело несколько маленьких палаток, а между ними деловито и на-

чальственно расхаживала тоненькая девушка в брюках и ковбойке.

Иван Матвеевич и Ваня, обгоняя друг друга, бросились к ней и разом обняли ее.

Холодно и удивленно отстранила она их руки и, отступив на шаг, сурово осведомилась:

— В чем дело?

— Вы археологи? Вас Эльга зовут?

— Да, археологи, да, Эльга, — строго и нетерпеливо продолжала она.

И тогда оба они увидели ее, надменную царевну неведомого царства, в брюках, загадочно украшенных швами и пуговками, с невыносимо гордой ее головой на непреклонной шее.

Отдалившись от нее, Иван Матвеевич, смутившись, стал сбивчиво оправдываться:

— Мы... ничего не хотим, тут вот товарищи из Москвы... все разыскивали вас...

— Где?! — воскликнула девушка и радостно и недоверчиво посмотрела на меня и Шуру, склонив набок голову. — Вы, правда, из Москвы? — заговорила она, горячо схватив нас за руки. — Когда приехали? Что там нового? Мы же ничего не знаем, совсем одичали! Какое счастье, что вы нас разыскали! И как кстати: мы тут нашли одну замечательную вещь! Да идемте же, что мы стоим, как дураки! Как вы нас нашли, мы же все время мчались, намечали план раскопок!

Какие-то молодые люди обступили нас со всех сторон, тормошили, обнимали, расспрашивали и все кричали наперебой, как будто это они догнали нас наконец в огромном пространстве.

Мы с Шурой совсем растерялись. Вот они все тут, рядом, уже не отделенные от нас горизонтом: семь человек, девушка и вышедший из-за деревьев, ярко охваченный солнцем, смуглый, узкоглазый, однорукий.

— Это наш профессор, — шепнула Эльга, — он

замечательный, очень ученый и умный, на вид строгий, а на самом деле предобрый.

Профессор крепко, больно пожал нам руки. Он, видно, был хакас и глядел зорко, словно прищурившись для хитрости.

Мы радостно оглянулись на Ивана Матвеевича и Ваню и вдруг увидели, что их нет. Как это? Мы так привыкли к тесной и постоянной близости этих людей, что неожиданное, немыслимое их отсутствие потрясло нас и обидело.

— Пойдите, — сказал Шура, пробиваясь сквозь археологов, — где же они?

— Кого вы ищите? — удивилась Эльга. — Мы все здесь.

Еще обманывая себя надеждой, мы обыскали весь берег и лес около — их нигде не было. Золотозубый стоял на прежнем месте и, погруженный в глубокое и мрачное франтовство, налаживал брюки, красиво напуская их на сапоги.

— Тут было двое наших, не видели, куда они делись? — обратился к нему взволнованный Шура.

— Это почему же они ваши? Они сами по себе, — отозвался тот, выплюнув молнию. — Ваши вон стоят, а те — на работу, что ли, опаздывали да не хотели вас отвлекать своим прощанием, велели мне за них попрощаться. Так что счастливо.

Как-то сразу устав и помертвев, мы побрели назад, к поджидавшим нас археологам. Все они вдруг показались нам скучно похожими друг на друга: Эльга — жесточкой и развязной, однурукий — чопорным. Мы и тогда знали, конечно, что это не так, но все же дулись на них за что-то.

Целый день мы записывали их рассказы: о их работе, о Тагарской культуре, длившейся с седьмого по второй век до нашей эры. Мне тоскливо почему-то подумалось в эту минуту, что все это ни к чему.

— Мы напишем прекрасную статью, романтическую и серьезную, — ласково ободрил меня Шура.

— Да, — сказала я, — только знаете, Александр Семенович, вы сами напишите ее, а я придумаю что-нибудь другое.

Вечером разожгли костер, и с разрешения профессора нам торжественно показали находку, которой все очень гордились.

Это был осколок древней стелы, случайно обнаруженный ими вчера в Курганах. Эльга осторожно, боясь вздохнуть, поднесла к огню небольшой плоский камень, в котором первый взгляд не находил ничего примечательного. Но близко склонившись к нему, мы различили слабое, нежное, глубоко высеченное изображение лучника, грозно поднимающего к небу свое бедное оружие. Какая-то трогательная неправдоподобность была в его позе, словно это рисовал ребенок, томимый неосознанным и могучим предвкушением искусства. Две тысячи лет назад и больше кто-то кропотливо трудился над этим камнем. Милое, милое человечество!

В лице и руках Эльги ясно отражался огонь, делая ее трепетной соучастницей, живым и светлым языком этого пламени, радостно нарушающего порядок ночи. Я смотрела на славные, молодые лица, освещенные костром, выдающие нетерпение, талант и счастливую углубленность в свое дело, лучше которых ничего не бывает на свете, и меня легко коснулось печальное ожидание непременной и скорой разлуки с этими людьми, как было со всеми, кого я повстречала за два последних дня или когда-нибудь прежде.

— Как холодно, — сказала Эльга, поежившись, — скоро осень.

Я тихонько встала и пошла в деревья, в белую мглу тумана, поднявшегося от реки. Близкий огонь костра, густо осыпающиеся августовские звезды, теплый, родной вздох земли, омывающий ноги, — это было добрым и детским знаком, твердо обещающим, что все бу-

дет хорошо и прекрасно. И вдруг слезы, отделившись от моих глаз, упали мне на руки. Я радостно засмеялась этим слезам и все же плакала, просто так, ни по чему, по всему на свете сразу: по Ане, по лучнику, по Ивану Матвеевичу и Ване, по бурундуку, живущему на горе, по небу над головой, по этому лету, которое уже подходило к концу.

ПУШКИН. ЛЕРМОНТОВ...

Когда начинаются в тебе два этих имени и не любовь даже, а все, все — наибольшая обширность переживания, которую лишь они в тебе вызывают?

Может быть, слишком рано, еще в замкнутом и глубочайшем уюте твоего до-рождения на этой земле, она уже склоняется и обрекает тебя к чему-то, и объединяет эти имена со своим именем в неразборчивом вздохе, преддрешающем твою жизнь.

Но что я знаю об этом? Сначала — ничего. Потом — проясняется и темнеет зрачок, и в долгом прекрасном беспорядке младенческого беспомыслия обозначается тяжелое качание ромашек где-то под Москвой, появляются другие огромные пустыки, и на всем этом — приторно-золотой отсвет первого детского блаженства. Потом, ни с того, ни с сего, в Ильинском сквере, — слабый, голубоватый цвет мальчика, тяжело перенесшего корь, остро-худого, как малое стеклышко. Он умудрен и возвышен болезнью, и мы долго с важностью ходим, взявшись за руки. Из одной ладони в другую легонько упадает вздох живой кожи, малость какая-то, которой тесно, — его последняя крапинка кори. Сквозь корь я с неприязнью различаю, что взрослых отвлекает от меня какая-то плохая забота, являются новые запахи и звук, чьей безнадежной протяженности тогда я не оценила. Наконец куда-то везут, и в ярком пробеле вагонной двери я вижу небо, короткую зелень травы, коров, и в последний раз понимаю, что всё — прекрасно.

Потом — в темноте эвакуации, в чужом доме, бормочут над моим полусном большие бабушкины губы. Давно уже, в крошечном «всегда», прожитом к тому времени, висят надо мной по вечерам два этих бормо-

тания, слух помнит порядок звуков в них, но только тогда, внезапно, я узнаю в звуках слова, а в словах — предметы мира, уже ведомые мне.

— Буря мглою небо кроет... — И вдруг такая беспросветная тоска, такая боль неуюта и одиночества, беспечного сознания защищенности и в помине нет, а бабушка, которой прежде всегда доставало для блаженства, — что она может поделать с великой непогодой над миром?

Потом наступает довольно долгий отдых какого-то безразличия. Бешеной детской памятью ты мгновенно усваиваешь даты и строки, связанные с этими двумя именами, смело бубнишь: «Великий русский поэт родился...», и все это придает тебе какой-то свободы и независимости от них. Во всяком случае так это было со мной. И только много позже ты обращаешься к ним всей энергией своего существа, и это уже навсегда. Потому много позже, что, кажется, человек дважды существует и в полном объеме своего характера — в раннем детстве и в зрелости.

И вот приходит пора, когда ни о чем другом и думать не можешь, словно разгадываешь тайну. Единым страданием прочитываешь всё сначала, но что-то еще остается неясным. Все исследования, все сторонние мнения вызывают вдруг ревность и раздражение: в тебе есть уже непослушание истине, самостоятельность любви, в далеко стоящей личности великого человека ты различаешь еще нечто — малое, живое, родимое, предназначенное только тебе.

Тобой овладевает беспокойная корысть собственного поиска, ты хочешь сам, воочию, убедиться, принять на себя ту, уже неживую, жизнь.

...В Царскосельском парке, на повороте аллеи, я столкнулась лбом с коротким и твердым ветром, не имевшим причины в этой погожей тишине. Вероятно, воздух, вытесненный полтора века назад бешенством его детского бега, до сих пор свистел и носился в этих

местах. С ним здесь нельзя было разминуться — нога повсюду попадала в его след — лукавый и быстрый, как улыбка. Он так осенил и насытил собой эти деревья, небеса и воды, статуи, разумно белеющие среди зелени, что всё это не выдержало вдруг избытка его имени и радостно выдохнуло его мне в затылок. И вдруг, в радостном помрачении рассудка, сместившем время, я засмеялась: слава Богу! один еще бегаёт здесь, пробивая прочную зелень крепкой смуглостью детского лба, а тот, другой, верно, и не родился пока! Какое редкостное благополучие в мире!

...В ту ночь в Михайловском тишина и темнота, обострившиеся перед грозой, помогали мне догнать его тень, и близко уже было, но вдруг быстрый, резкий всплеск многих голосов заплакал над головой — это цапли, живущие высоко над прудом, испугались бесшумного бега вниз. И я одна пошла к дому. Бедный милый дом. Бедный милый дом — столько раз исчезающий, убитый грубостью невежд, и снова рожденный детской любовью людей к его хозяину. Из него можно выйти на крыльцо, сверху глядящее на реку. Но лучше не выходить и не видеть того, что видно. Потому что река, скромно сияющая в просвете деревьев, и простые поля за рекой, не остановленные никаким пределом, расположены там таким образом, что легкие вдыхают вдруг боль и нет такого «ах», чтобы ее выдохнуть. Это есть твоя земля, но в таком чрезмерном средоточии, в такой высокой степени наглядности, что для одного мгновения твоей жизни это невыносимо много.

Но дом был темен и пуст. Где же его хозяин? В Тригорском, конечно!

Ученый и добрый человек разгадал мою чудную тоску и ничего не стал запрещать мне в ту ночь. Я взяла подсвечник, который был старше меня на двести лет, но прочнее и новее меня, засверкал он тремя свечами. Я вошла одна в этот длинный, под фабрику строенный дом, более всех домов в мире населенный ревностью,

любовью и тоской — всё здесь обожжено и заплакано им. Медленно, медленно моих губ коснулся сумрак той осени — минута в минуту сто сорок лет назад. И тогда, остановив меня на пороге гостиной, маленьким нежным рыданием заиграл золотой голосок. Я не испугалась! Я знала эту игрушку — бессмертная птичка в клетке, умеющая открывать жалобно поющий металлический клюв. Как тосковал тот, кто завел ее ночью и слушал один! А как затоскует он зимой! Буря мглою... нет сил.

Что же, он был там? Конечно. А я его видела? Нет, я осторожно пошла прочь. Если очень любишь свою тайну, я думаю — не надо заставлять врасплох ее целомудрие и доводить ее до очевидности.

Ну, а тот, другой, ради которого я вспоминаю всё это и называю, берегу в тишине второе и тоже единственное имя — долгое, прохладное, сложное на вкус, как влага, которой никто не пил? С ним пока всё еще не так плохо, но и радоваться нечему: ему минуло уже десять лет, а он рано узнает печаль.

Однако, как летит время, особенно если ты, случайной кривизной памяти, попал в прошлый век.

И вот я в квартире на Мойке, столько раз реставрированной и всё же хорошо сохранившей выражение неблагополучия. Несколько посетителей, застенчиво поместив руки за спиной, из некоторого отдаления протягивают лица к стендам, и оттого все кажутся длинноносы и трогательно нехороши собой.

Ученая женщина-экскурсовод самоуверенным голосом перечисляет долги, ревность, одиночество, обострившие тупик его последних дней. Еще немного — и она, пожалуй, договорится до его трагической гибели. Но мне невмозготу это слушать, и я бегу от того, что принадлежит ей, к тому, что принадлежит мне.

Если он так жив во мне, может быть, есть какая-нибудь надежда. Но я смотрю в стекло, под которым... Нет никакой надежды. Там, под стеклом, помещен небольшой кусок черной материи, приведенной портным к

изящному и тонкому силуэту. Это жилет, выбранный великим человеком утром рокового дня. Его грациозно малый размер так вдруг поразил, потряс, разжалобил меня, и вся живая прочность моего тела бросилась на защиту той родимой, горячей, беззащитной худобы. Но давно уже было позади, и слезы жалости и недоумения помешали мне смотреть, — неся их тяжесть в глазах и на лице, я вышла на улицу.

Что осталось мне теперь?

О, еще много — четыре с лишним года от этого января и до того июля. Пока неизвестно, что будет потом. Только едва ощутимый холодок недоброго предчувствия, как тогда, вернее — как потом, в моем детстве, в эвакуации.

Эти четыре года между 1837 и 1841 — самый большой промежуток времени из всех, мне известных. За этот срок юноша, проживший двадцать два года, должен во что бы то ни стало прожить большую часть своей жизни — до ее предела, до высочайшего совершенства личности.

Зрелость человека прекрасна, но коротка в сравнении с тем временем, которое он тратит, чтобы ее достигнуть. Но этому юноше она нужна немедленно — он остался один на один с обстоятельствами великой поэзии, и они вынуждают его к мгновенному подвигу многолетнего возмужания. Разумеется, это естественная, единственно возможная судьба его, а не преднамеренное усилие воли.

И он бросается в эти четыре года, чтобы прожить целую жизнь, а это дорого стоит. Так, в любимой им легенде, путник вступает в высокую башню царицы, чтобы в одну ночь испытать вечность блаженства и муки, и еще неизвестно, действительно ли он не ведает, во что это ему обойдется.

Ему удастся совершить этот смертельно-выгодный для него обмен: две жизни в плену — «за одну, но только полную тревог».

Итак: «погиб поэт...»

Я знаю, это мое, несправедливое пристрастие — начинать счет с этого момента, с этой строки, но для меня — отсюда именно начинается эта сиротская, тяжелая любовь к нему. Я поздно спохватилась: остается лишь четыре года.

Я до сих пор — а прошло сто лет и еще столько, сколько исполнилось мне в этом году — не знаю: какое это стихотворение. То есть какова стихотворная, литературная его сторона. Я помню его только нагим, анатомически откровенным черновиком: первая, одной быстрой мукой, одним порывом почерка написанная часть, потом — зачеркнуто, это где надо описать убийцу. Не убить убийцу, не свести на нет силой брезгливого гнева, а попробовать говорить о нем. А рука — не тверда от боли. Потом — устал. Нарисовал профиль справа и внизу. Потом — ясно, сразу написано: «Не мог понять в тот миг кровавый, на что он руку поднимал!» Ну да. Ведь это так дополнительно ужасно: погиб, всё кончено, но еще если представить себе, каким образом, — дурное, малое ничто поднимает руку на что? На всё, на лучшее, на то, чего никогда уже не будет, и ничего нельзя поделать.

И это — отдельно написанное, благородное, абсолютное, наивное, даже детское какое-то проклятье в конце.

Для меня — это последнее его стихотворение, оставляющее мне возможность обывательской растроганности: Господи! а ведь он еще так молод! Дальнейший его возраст — лишь неважная, житейская примета, ничего не объясняющая в завершенной, как окружность, наибольшей и вечной взрослости духа, не подлежащей вычислению.

В спешке жажды и тоски по нему сколько жизни проводим мы среди его строк, словно локти разбивая об острые углы раскаленного неуютя, в котором пребывала его душа. В ссадинах выхожу я из этого чте-

ния. И так велико и насущно ощущение опасности, каждодневно висящей над ним, — при его-то таланте протянуть руку и о пустой звук порезаться, как об острие. И вдруг короткий отдых такой чистой, такой доброй ясности — «И верится, и плачется, и так легко, легко». О, знаю я эту легкость: все быстрее, быстрее бег его нервов, все уже духота вокруг, и настойчивое, почти суеверное упоминание о близком конце и бедная эта, живая оговорка: «Но не тем глубоким сном могилы...»

И еще очень люблю я в нем небесные просветы такой прохладной, такой свежей простоты, что сладко остудить о них горячий лоб. А это, может быть, больше всего: «Пусть она поплачет... Ей ничего не значит». Это — как в Ленинграде: если переутомишь себя непрерывным трудом восхищения, захвораешь перевозбуждением оттого, что всякое здание требует художественной разгадки, то пойдешь невольно на неясный зов какой-то белизны. И увидишь: долгое здание, приведенное в сосредоточенный порядок строгой дисциплиной колонн, и такая в этом справедливость и здравость рассудка Кваренги, что разом опечалишься и отдохнешь.

Можно играть в эту игру с былыми годами и не надолго и не на самом деле обмануть себя: быть в Михайловском, но не подняться в Святогорский монастырь, где по ночам так ярко белеют монастырь, маленький памятник и звезды августовского неба. И думать: то, что живо в тебе густой толчеей твоей крови и нежностью памяти, то живо и впрямь. Это ничему не помогает. И все же я не добралась еще до Пятигорска. Я остановилась на той горе, где живы еще развалины монастыря, и скорбная тень молодого монаха все хочет и хочет свободы, а внизу, в дивном и нежном пространстве, Арагва и Кура сближаются возле древнего Мцхетского храма. И он некогда стоял здесь, и видел все это, и оттого, что я повторила в себе какой-то миг его зренья, мне показалось, что на секунду и навеки он возвращен сюда всевластным усилием любви. Там я и ос-

тавила его — он стоит там, обласканный южным небом, но хочет вернуться на север, туда, куда нельзя не вернуться. И он вернется.

Но почему два имени сразу? Не знаю. Так случилось со мной. Недавно, в чужой стране, в большом городе, я и два человека из этого города, и один человек из моего города, стояли и смотрели на чужую прекрасную реку. И кто-то из тех двоих мельком, имея в виду что-то свое, упомянул эти имена. Мы ничего не ответили им, но наши лица стали похожи. Они спросили: «Что вы?» Я сказала: «Ничего». И выговорила вдруг так, как давно не могла выговорить: ПУШКИН. ЛЕРМОНТОВ.

И в этом было все, все: они и имя земли, столь близкое к их именам, и многозначительность души, связанная с этим, все, что знают все люди, и еще что-то, что знает лишь эта земля.

ВОСПОМИНАНИЕ О ГРУЗИИ

Вероятно, у каждого человека есть на земле тайное и любимое пространство, которое он редко навещает, но помнит всегда и часто видит во сне. Человек живет дома, на родине, там, где ему следует жить; занимается своим делом, устает, и ночью, перед тем как заснуть, улыбается в темноте и думает: «Сейчас это невозможно, но когда-нибудь я снова поеду туда...»

Так думаю я о Грузии, и по ночам мне снится грузинская речь. Соблазн чужого и милого языка так увлекает, так дразнит немые губы, но как примирить в славянской гортани бурное несогласие согласных звуков, как уместить долготу гласных? Разве что во сне сумею я преодолеть косноязычие и издать этот глубокий клетот, который все нарастает в горле, пока не станет пением.

Мне кажется, никто не живет в такой близости пения, как грузины. Между весельем и пением, печалью и пением, любовью и пением вовсе нет промежутка. Если грузин не поет сейчас, то только потому, что собирается петь через минуту.

Однажды осенью в Кахетии мы сбились с дороги и спросили у старого крестьянина, куда идти. Он показал на свой дом и строго сказал: «Сюда». Мы вошли во двор, где уже сушилась чурчхела, а на ветках айвы куры вскрикивали во сне. Здесь же, под темным небом, хозяйка и две ее дочери ловко накрыли стол.

Сбор винограда только начинался, но квеври — остроконечные, зарытые в землю кувшины — уже были полны юного, еще не перебродившего вина, которое пьется легко, а хмелит тяжело. Мы едва успели его отведать, а уже все пели за столом во много голосов, и каждый голос знал свое место, держался нужной высо-

ты. В этом пении не было беспорядка, строгая, неведомая мне дисциплина управляла его многоголосьем.

Мне показалось, что долгожданная тайна языка наконец открылась мне, и я поняла прекрасный смысл этой песни: в ней была доброта, много любви, немного печали, нежная благодарность земле, воспоминание и надежда, а также все остальное, что может быть нужно человеку в такую счастливую и лунную ночь.

СТИХОТВОРНЫЕ ПЕРЕВОДЫ

(С грузинского)

Из М. Квливидзе

ТИЙЮ

Чужой страны познал я речь,
и было в ней одно лишь слово,
одно — для проводов и встреч,
одно — для птиц и птицелова.

О, Тийю!*) Этих двух слогов
достанет для «прощай» и «здравствуй».
В них — знак немилости, и зов,
и «не за что», и «благодарствуй»...

О, Тийю! В слове том слегка
будто посвистывает что-то,
в нем явственны акцент стекла
разбитого
и птичья нота.

Чтоб «Тийю» молвить, по утрам
мы все протягивали губы.
Как в балагане — тарарам,
в том имени — звонки и трубы.

О, слово «Тийю»! Им одним,
единственно знакомым словом,
прощался я с лицом твоим
и с берегом твоим сосновым.

Тийю! (Как голова седа!)
Тийю! (Не плачь, какая польза!)
Тийю! (Прощай!)
Тийю! (Всегда!)
Как скоро все это... как поздно...

*) Тийю — имя эстонской девушки.

СЛЕДЫ НА СНЕГУ

Я видел белый цвет земли,
где безымянный почерк следа
водил каракули средь снега
и начинал тетрадь зимы.

Кого-то так влекло с крыльца!
И снег — уже не лист бесцельный,
а рукопись строки бесценной,
не доведенной до конца.

Из Симона Чиковани

МОРСКАЯ РАКОВИНА

Я, как Шекспир, доверюсь монологу
в честь раковины, найденной в земле.
Ты послужила морю молодому,
теперь верни его звучанье мне.

Нет, древний череп я не взял бы в руки.
В нем знак печали, вечной и мирской.
А в раковине — воскресают звуки,
умершие средь глубины морской.

Она, как келья, приютила гулы
и шелест флагов, буйный и цветной.
И шепчут ее сомкнутые губы,
и сам Риони говорит со мной.

О раковина, я твой голос вещей
хотел бы в сердце обрести своим,
чтоб соль морей и песни человечьи
собрать под перламутровым крылом.

И сохранить среди прочих шумов — милый
шум детства, различимый в тишине.
Пусть так и будет. И на дне могилы
пусть все звучит и бодрствует во мне.

Пускай твой кубок звуки разливает
и все же ими полнится всегда.
Пусть развлечет меня — как развлекает
усталого погонщика звезда.

СКАЗАННОЕ ВО ВРЕМЯ БОМБЕЖКИ

В той давности, в том времени условном
что был я прежде? Облако? Звезда?
Не пробужденный колдовством любовным
алгетский камень, чистый, как вода?

Ценой любви у вечности откуплен,
я был изъят из тьмы, я был рожден.
Я — человек. Я — как поющий купол,
округло и таинственно сложен.

Познавший мудрость, сведущий в искусствах,
в тот день я крикнул:
— О земля моя!
Даруй мне тень!
Пошли хоть малый кустик —
простить меня и защитить меня!

Там, в небесах, не склонный к проволочке,
сияющий нацелен окуляр,
чтобы вкусил я беззащитность точки,
которой алчет перпендикуляр.

Я по колено в гибели! По пояс!
Я вязну в ней! Тесно дышать груди!
О школьник обезумевший! Опомнись!
Губительной прямой не проводи!

Я — человек! И драгоценен пламень
в душе моей!
Но нет, я не хочу
сиять заметно!
Я — алгетский камень!
О Господи, задуй во мне свечу!

И отдалился грохот равномерный.
И куст дышал. И я дышал под ним.
Немилосердный ангел современный
побрезговал ничтожеством моим.

И в этот мир, где пахло, где белело,
смеркалось, пело, силилось сверкнуть,
я нежно вынес собственного тела
родимую и жалостную суть.

Заплакал я, всему живому близкий,
вздыхающий, трепещущий, живой.
О высота моей молитвы низкой,
я подтверждаю бедный лепет твой.

Я видел одинокое, большое
свое лицо. Из этого огня
себя я вынес, как дитя чужое,
слегка напоминавшее меня.

Не за свое молился долговечье
в тот год, в тот час, в той темной тишине —
за чье-то золотое, человечье,
случайно обитавшее во мне.

И выжило оно. И над водою
стоял я долго. Я устал тогда.
Мне стать хотелось облаком, звездой,
алгетским камнем, чистым, как вода.

БЫКИ

Что за рога украсили быка!
Я видел что-то чистое, рябое,
как будто не быки, а облака
там шли, обремененные арбою.

Понравились мне красные быки.
Их одурманил запах урожая.
Угрюмо напряженные белки
смотрели добро, мне не угрожая.

О, их рога меня с ума свели!
Они стояли прямо и навесно.
Они сияли, словно две свечи,
и свечи те зажгла моя невеста.

Я шел с арбой. И пахло все сильнее
чем-то осенним, праздничным и сытым.
О виноградник юности моей,
опять я янтарем твоим осыпан.

Смотрю сквозь эти добрые рога
и вижу то, что видывал когда-то:
расставленные на лугу стога,
гумно и надвижение заката.

Мне помнится — здесь девочка была,
в тени ореха засыпать любила.
О женщина, ведущая быка,
сестра моя! Давно ли это было?

Прими меня в моих местах родных
и одари теплом и тишиною!
Пусть светлые рога быков твоих,
как месяцы, восходят надо мною.

ОЛЕНИ НА ГУМНЕ

Я молод был. Я чужд был лени.
Хлеб молотил я на гумне.
Я их упрашивал:
— Олени!
Олени, помогите мне!

Они послушались. И славно
работали мы дотемна.
О, как смеялись мы, как сладко
дышали запахом зерна!

Нас солнце красное касалось
и отражалось в их рогах.
Рога я трогал — и казалось,
что солнце я держу в руках.

Дома виднелись. Их фасаду
закат заглядывал в лицо.
И вдруг, подобная фазану,
невеста вышла на крыльцо.

Я ей сказал:
— О, совпадение!
Ты тоже здесь? Ты — наяву?
Но будь со мной, как сновиденье,
когда засну, упав в траву.

Ты мне привидишься босая,
босая, на краю гумна.
Но, косы за плечи бросая,
ты выйдешь за пределы сна.

И я скажу тебе:
— Оденем
оленям на рога цветы.
Напьемся молоком оленьим
иль буйвольим — как хочешь ты.

Меж тем смеркается, и вилы
крестьянин прислонил к стене,
и возникает запах винный,
и пар клубится на столе.

Присесть за столик земледельца
и, в сладком предвкушенье сна,
в глаза олени заглядеться
и выпить доброго вина...

НА НАБЕРЕЖНОЙ

Я в семь часов иду — так повелось —
по набережной, в направленье дома,
и продавец лукавый папирос
мне смотрит вслед задумчиво и долго.

С лотком своим он на углу стоит,
уставится в меня и не мигает.
Будь он неладен, взбалмошный старик!
Что знает он, на что он намекает?

О, неужели ведомо ему,
что, человек почтенный и семейный,
в своем доме, в своем пустом доме,
томлюсь я от чудачеств и сомнений?

Я чиркну спичкой — огонек сырой
возникнет. Я смотрю на это тленье,
и думы мои бродят над Курой,
как бы стада, что ищут утоленья.

Те ясени, что посадил Важа,
я перенес в глубокую долину,
и нежность моя в корни их вошла
и щедро их цветеньем одарила.

Я сердце свое в тонэ закалил,
и сердце стало вспльчивым и буйным.
И все ж порою из последних сил
тянул я лямку — одинокий буйвол.

О старость, приговор твой отмени
и детского не обмани доверья.
Не трогай палисадники мои,
кизиловые не побей деревья.

Позволь, я закатаю рукава.
От молодости я изнемогаю —
пока живу, пока растет трава,
пока люблю, пока стихи слагаю.

ПРЕКРАТИМ ЭТИ РЕЧИ НА МИГ...

Прекратим эти речи на миг,
пусть и дождь свое слово промолвит,
и среди тутовых веток немых
очи дремлющей птицы промоет.

Где-то рядом, у глаз и у щек,
драгоценный узор уже соткан —
шелкопряды мотают свой шелк
на запястья верийским красоткам.

Вся дрожит золотая блесна,
и по милости этой погоды
так далекая юность близка,
так свежо ощущение свободы.

О, ходить, как я хаживал, впредь
и твердить, что пора, что пора ведь
в твои очи сквозь слезы смотреть
и шиповником пальцы поранить.

Так сияй своим детским лицом!
Знаешь, нравится мне в этих грозах,
как стоят над жемчужным яйцом
аистихи в затопленных гнездах.

Как миндаль облетел и намок!
Дождь дорогу марает и моет —
это он подает мне намек,
что не столько я стар, сколько молод.

Слышишь? — в тутовых ветках немых
голос птицы свежее и резче.
Прекратим эти речи на миг,
лишь на миг прекратим эти речи.

ПО ПУТИ В СВАНЕТИЮ

Теперь и сам я думаю: ужели
по той дороге, странник и чудак,
я проходил?
Горвашское ущелье,
о, подтверди, что это было так.

Я проходил. И детскую прилежность
твоей походки я увидел.
Ты
за мужем шла покорная,
но нежность,
сиянье нежности возшло из темноты.

Наши глаза увиделись.
Ревниво
взглянул твой муж.
Но как это давно
случилось.
И спасла меня равнина,
где было мне состариться дано.

Однако повезло тому, другому —
не ведая опасности в пути,
по той дороге он дошел до дому,
никто не помешал ему дойти.

Не гикнули с откоса печенег,
не ухватились за косы твои,
не растрепали их.
Не почернели
глаза твои от страха и любви.

И, так и не изведавшая муки,
ты канула, как бедная звезда.
На белом муле, о, на белом муле
в Ушгули ты спустилась навсегда.

Но все равно — на этом перевале
ликует и живет твоя краса.
О, как лукавили, как горевали
глаза твои, прекрасные глаза.

ЗАДУМАННОЕ ПОВЕДАЙ ОБЛАКАМ

А после — шаль висела у огня,
и волосы, не знавшие законов
прически, отряхнулись от заколок
и медленно обволокли меня.

Я в них входил, как бы входил в туман
в горах сванетских, чтобы там погибнуть,
и все-таки я их не мог покинуть,
и я плутал в них и впадал в обман.

Так погибал я в облаке твоём.
Ты догадалась — и встряхнула ситом,
пахнуло запахом земным и сытым,
и хлеб ячменный мы пекли вдвоем.

Очаг дышал все жарче, все сильней.
О, как похожи были ты и пламя,
как вы горели трепетно и плавно,
и я гостил меж этих двух огней.

Ты находилась рядом и вокруг,
но в лепете невнятного наречья,
изогнутою, около Двуречья
тебя увидеть захотел я вдруг.

Чуть не сказал тебе я: «О лоза,
о нежная, расцветшая так рано...»
В Сванетии не знают винограда,
я не сказал. И я закрыл глаза.

Расстались мы. И вот, скорей старик,
чем мальчик, не справляюсь я с собою
и наклоняюсь головой седою,
и надо мной опять туман стоит.

Верни меня к твоим словам, к рукам.
Задуманное облакам поведай,
я догадаюсь — по дождю, по ветру.
Прошу тебя, поведай облакам!

ОТ ЭТОГО ПОРОГА...

От этого порога до того
работы переделал я немало.
Чинары я сажал — в честь твоего
лица, что мне увидеть предстояло.

Пока я отыскал твои следы
и шел за ними, призванный тобою,
состарился я. Волосы седые.
Ступни мои изнурены ходьбою.

И все ж от этой улицы до той
я собирал оброненные листья,
и наблюдали пристально за мной
прохожих озадаченные лица.

То солнце жгло, то дождик лил — всего
не перескажешь. Так длинна дорога
от этого порога до того
и от того до этого порога.

И все-таки в том стареньком дому
все нашими населено следами,
и где-то там, на чердаке, в дыму,
лежит платок с забытыми слезами.

От этого и до того огня
ты шила мне мешок для провианта.
Ты звездную одеда на меня
рубаху. Ты мешок мой проверяла.

От этого порога до того
я шел один среди жары и стужи,
к бокам коней прикладывал тавро,
и воду пил, толлок я воду в ступе.

Я плыл по рекам и не знал — куда,
и там, пока плыла моя пирога,
я слышал, как глаголила Кура, —
от этого и до того порога.

ДЕВЯТЬ ДУБОВ

Мне снился сон — и что мне было делать?
Мне снился сон — я наблюдал его.
Как точен был расчет — их было девять:*)
дубов и дэвов. Только и всего.

Да, девять дэвов, девять капель яда
на черных листьях, сникших тяжело.
Мой сон исчез, как всякий сон. Но я-то,
я не забыл то древнее число.

Вот девять гор, сужающихся кверху,
как бы сосуды на моем пути.
И девять пчел слетаются на квеври,
и квеври тех — не больше девяти.

Я шел, надежду тайную лелея,
узнать дубы среди других лесов.
Мне чудится — они поют «Лилео».
О, это пенье в девять голосов!

Я шел и шел за девятью морями.
Число их подтверждали неспроста
девять ворот, и девять плит Марабды,**)
и девяти колодцев чистота.

Вдруг я увидел: посреди тумана
стоят деревья. Их черты добры.
И выбегает босиком Тамара
и девять раз целует те дубы.

*) Число девять считается в народе магическим. Девять дубов — символ непоколебимости, силы, долговечности народа.

***) Девять плит Марабды — девять могил братьев Херхеулидзе, героически погибших в битве при Марабде.

Я исходил все девять гор. Колени
я укрепил ходьбою. По утрам
я просыпался радостный. Олени,
когда я звал, сбегали по горам.

В глаза чудес, исполненные света,
всю жизнь смотрел я, не устав смотреть.
О, девять раз изведавшему это
не боязно однажды умереть.

Мои дубы помогут мне. Упрямо
я к их корням приникну. Довести
меня возьмется буйволов упряжка.
И снова я сочту до девяти.

НАЧАЛО

О стихи, я бы вас начинал,
начиная любое движенье.
Я бы с вами в ночи ночевал,
я бы с вами вступал в пробужденье.
Но когда лист бумаги так бел,
так некстати уста молчаливы.
Как я ваших приливов робел!
Как оплакивал ваши отливы!
Если был я присвоить вас рад,
вы свою охраняли отдельность.
Раз, затеяв пустой маскарад,
вы моею любимой оделись.
Были вы — то глухой водоем,
то подснежник на клумбе ледовой,
и болели вы в теле моем,
и текли у меня из ладоней.

Вас всегда уносили плоты,
вы погоне моей не давались,
и любовным плесканьем плотвы
вы мелькали и в воду скрывались.
Так, пока мой затылок седел
и любимой любовь угасала,
я с пустыми руками сидел,
ваших ласк не отведав нимало.
Видно, так голубое лицо
звездочет к небесам обращает,
так девчонка теряет кольцо,
что ее с женихом обручает.
Вот уже завершается круг.
Прежде сердце живее стучало.
И перо выпадает из рук
и опять предвкушает начало.

Из Отара Чиладзе

* * *

Я попросил подать вина и пил.
Был холоден не в меру мой напиток.
В пустынном зале я делил мой пир
со сквозняком и запахом опилок.

Несмелый локоть горестной зимы
из тьмы, снаружи лег на подоконник.
Из сумрачных берлог, из мглы земли,
наверно, многих, но не знаю скольких,

Рев паровозов вышел и звучал.
Не ведаю, что делалось со мною,
но мне казалось — плач их означал
то, что моею было тишиною.

Входили люди, супа, папирос
себе просили, поступали просто
и упрощали разнбой сиротств
до одного и общего сиротства.

Они молчали, к помыслам своим
подняв многозначительные лица,
как будто что-то, ведомое им,
намеревалось грянуть и случиться.

Их тайна для меня была темна.
Я не спешил расспрашивать об этом.
Желанием моим или вина
было — увидеть снег перед рассветом.

Снег начинался около крыльца,
и двор был неестественно опрятен,
словно постель умершего жильца,
где новый штрих уже невероятен.

Свою печаль я укротил вином,
но в трезвых небесах не укрощенных
звучала встреча наших двух имен
предсмертным звоном двух клинков скрещенных.

Мне никогда бы не отвлечь ума
от алчности — забыть, что с нами было,
когда бы милосердная зима
для будних дел меня не исцелила.

* * *

В быт стола, состоящий из яств и гостей,
в круг стаканов и лиц, в их порядок насущный
я привел твою тень. И для тени твоей —
вот стихи, чтобы слушала. Впрочем, не слушай.

Как бы все упростилось, когда бы не снег!
Белый снег увеличился. Белая птица
преуспела в полете. И этот успех
сам не прост и не даст ничему упроститься.

Нет, не сам по себе этот снег так велик!
Потому он от прочего снега отличен,
что студеным пробелом отсутствий твоих
его цвет был усилен и преувеличен.

Холод теплого снега я вытерпеть мог —
но в прохладу его, волей слабого жеста,
привнесен всех молчаний твоих холодок,
дабы стужа зимы обрела совершенство.

Этим снегом, как гневом твоим, не любим,
я сказал твоей тени: довольно! Не надо!
Оглушен я молчаньем и смехом твоим
и лицом, что белее, чем лик снегопада.

Ты — во всем. Из всего — как тебя мне извлечь?
Запретить твоей тени всех сказок чрезмерность,
твое тело услышать, как внятную речь,
где прекрасен не вымысел, а достоверность?

Снег идет и не знает об этом. Летит
и об этом не ведает белая птица.
Этот день лицемерит и делает вид,
что один, без тебя он сумеет продлиться.

О, я помню! Я сам был огромен, как снег.
Снега не было. Были огромны и странны
возле зренья и слуха — твой свет и твой смех,
возле губ и ладоней — вино и стаканы.

Но не мне быть судьей твоих слов и затей!
Ты прекрасна. И тень твоя тоже прекрасна.
Да хранит моя тень твою слабую тень —
там, превыше всего, в неуютности пространства.

ОГЛАВЛЕНИЕ

От составителя	5
--------------------------	---

СТИХИ

(1955 год)

Черный ручей	9
Ночью	9

(1957 год)

Жалейка	10
-------------------	----

(До 1960 года)

Бог	11
«Он приготовил пистолет...»	13
Пятнадцать мальчиков	14
«Чем отличаюсь я от женщины с цветком...»	16
Город науки под Новосибирском	16
«Жилось мне весело и шибко...»	18
«Я думала, что ты мой враг...»	18

(1960-1961 годы)

«В рубашке белой и стерильной...»	19
«Жила в позоре окаянном...»	20
«Ну, предали. Ну, предали. Потом...»	21
«Как корил ты меня за жестокость...»	22
«— Всё это надо перешить...»	23
«О, мой застенчивый герой...»	23
«Смотрю на женщин, как смотрели встарь...»	24
«Твое окно на сторону восточную...»	25
«Так и живем — напрасно маясь...»	26
«Из глубины моих невзгод...»	28
«Предать меня? Но для чего же?...»	28
Ада	29
«О боль, ты — мудрость. Суть решений...»	31
Вулканы	32
«О жест зимы ко мне...»	33

(До 1962 года)

«Глубоким голосом пророка...»	34
Невеста	35
Абхазские похороны	37
Молоко	38
Лунатики	38
Грузинских женщин имена	39
«Влечет меня старинный слог...»	40
Апрель	41
Цветы	42
«Мы расстаемся — и одновременно...»	43
Барс	44
Светофоры	45
Конь	46
День поэзии	47
Чужое ремесло	48
Новая тетрадь	49
Старинный портрет	50
Хемингуэй	52
Садовник	53
«О, слово точное — подонки!..»	55
«Человек в чисто поле выходит...»	56
Зимний день	57
Снегурочка	59
«Живут на улице Песчаной...»	60
Королева	61
«Вот звук дождя, как будто звук домбры...»	62
«Смеясь, ликуя и бунтуя...»	63
Твой дом	64
Древние рисунки в Хакассии	66
Нежность	66
Несмеяна	68
«О, еще с тобой случится...»	69
«Нас одурачил нынешний сентябрь...»	71
Сентябрь	71
«Опять в природе перемена...»	79
Мотороллер	80
Мазурка Шопена	81
Август	82
Автомат с газированной водой	83

(1962 год)

Дуэль	84
«В тот месяц май, в тот месяц мой...»	86
«Не уделяй мне много времени...»	87
Вступление в простуду	87
Свеча	88
Пейзаж	89
Магнитофон	89
«По улице моей который год...»	91
Главы из поэмы (о Пастернаке)	93
Воскресный день	98

(1963 год)

Маленькие самолеты	101
Озноб	102
Уроки музыки	107
Моя родословная (Поэма)	109
В метро на остановке «Сокол»	136
Сон	138
Мои товарищи	140

(1964 год)

Сказка о дожде (в нескольких эпизодах, с диалогами и хором детей)	142
--	-----

(1965 год)

Прощание	154
В опустевшем доме отдыха	155
«Кто знает — вечность или миг...»	156
Ночь	157
Симону Чиковани	159
Слово	160

(1966 год)

Немота	162
Другое	163
Тоска по Лермонтову	163

(1967 год)

Приключение в антикварном магазине	166
Сумерки	173
«Сны о Грузии — вот радость!..»	174
Спать	175
Плохая весна	176
«Случилось так, что двадцати семи...»	179
«Я думаю: как я была глупа...»	180
«Как долго я не высыпалась...»	182

(1968 год)

«Так дурно жить, как я вчера жила...»	186
Варфоломеевская ночь	187
Гостить у художника	189
Смерть Ахматовой	192
Заклинание	193
Клянусь	194

ПРОЗА

На сибирских дорогах	199
Пушкин. Лермонтов...	235
Воспоминание о Грузии	243

СТИХОТВОРНЫЕ ПЕРЕВОДЫ

(С грузинского)

Из М. Квливидзе

Тийю	247
Следы на снегу	248

Из Симона Чиковани

Морская раковина	248
Сказанное во время бомбежки	249
Быки	251
Олени на гумне	252

Гремская колокольня	254
На набережной	255
Прекратим эти речи на миг...	256
По пути в Сванетию	257
Задуманное поведай облакам	258
От этого порога...	259
Девять дубов	261
Начало	262

Из Отара Чиладзе

«Я попросил подать вина и пил...»	263
«В быт стола, состоящий из яств и гостей...»	265